

МИХАИЛ
ЖВАНЕЦКИЙ



Одесский
телефон

**Михаил Михайлович Жванецкий
Олег Сташкевич
Одесский телефон**

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8885307

Михаил Жванецкий. Одесский телефон : собрание произведений : девяностые: Эксмо; Москва;

2015

ISBN 978-5-699-74336-0

Аннотация

Собрание произведений Михаила Жванецкого, написанные в девяностые. «Там хорошо, где нас нет», «Сексуальная революция», «Красивая женщина», «Одесский телефон» помнят все поклонники автора.

Содержание

Девяностые	5
Человек	7
Там хорошо, где нас нет	9
Бояться не надо!	11
По Дарвину	13
Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына	14
Родина, страна, держава	18
Сексуальная революция	19
Телефонное одиночество	21
Что-то вы стали злым	22
Автопортрет	24
Судьба паучья	27
Население и народ	28
С Новым, возможно, годом	32
Рискуют все!	33
Первый	36
Актер	38
Если сравнивать	40
Таблетки от тревоги	42
Одному	43
Была еда	44
Мода сезона	46
Люди социализма	47
Как обычно	50
Любимое правительство	51
Колебания	53
Формула счастья	54
Выше на Север	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Михаил Жванецкий Одесский телефон: собрание произведений: девяностые

Составитель *Олег Сташкевич*

Рисунки *Резо Габриадзе*

© М. Жванецкий, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Девяностые



...С 1983 года я в Москве. Так и живу: закончил Одессу, поступил в Ленинград, закончил Ленинград, поступил в Москву, где и учусь уже всю жизнь. Когда сейчас получаю записки: «Расскажите, как вы жили?» – удивляюсь. Жил неплохо. Человек вообще не знает, как он живет, пока не узнает от других. Я и не знал, что можно печататься в газетах, в журналах, выпускать книги, выступать по телевидению, что-то узнавать из собственных ответов. Я немного жил, немного писал, немного читал, кто-то начал записывать, кто-то – переписывать. Ну и что? И когда мне говорят: «Неужели вы не понимаете?» – я думаю, думаю и не понимаю...

Человек

Человек может работать потрясающе и бесконечно.
От рассвета и до заката. Становясь все красивее.
Человек в одиночку может строить дом, возделывать сад, цветы, овощи, добывать материалы, перевозить их на себе.
О! Как он может работать, строя себе дом, баню, огород!
Весь день будут слышны визг его тележки, врез топора, скрежет труб.
Один в бесконечном труде.
От вырастания дома, от вырастания сада, от вырастания животных, от бесконечного труда он становится все лучше, все нечувствительней к усталости, все интеллигентней.
И тут его начинает желать земля. Цветы отдаются только ему.
У плохого человека они не цветут.
Деревья признают его руку, животные идут на его голос.
А он уже не боится металла, не боится машины.
Кран, труба, поршень становятся родными.
Руки начинают чувствовать металл, гайку, сгиб и могут повторить как было и повернуть по-новому, сделать воде удобно и сделать крыше удобно, и фундаменту сухо, и дереву влажно.
Руки становятся очень твердыми и очень чувствующими.
Тело – не так сильным, как приспособленным.
Когда можешь поднять то, что захочешь, и верно оцениваешь вес.
Руку точно продолжает топор, ключ, мастерок.
Все отполировано. Рукоятка входит в пальцы без зазора.
Сильны те мышцы, что нужны для работы.
Может даже выпирать живот от обильной рабочей еды.
Он не мешает.
У хорошего хозяина он есть всегда.
Вначале пропадает брезгливость, потом уходит усталость, потом раздражение, и появляется техника.
Кельма, полутерка, сокол приросли к рукам, голова освобождается от того, что делаешь, место тактики занимает стратегия.
Ты уже можешь осуществлять идеи.
Сначала чужие, потом свои.
Новая работа начинается с расспросов.
Всегда найдется человек, который что-то подобное делал.
Человек человеку – совет, способ и инструмент, и все становится понятным, все возможным.
Все распадается на простое. Кто делал – не соврет.
А то, что ты делаешь для себя, будет стоять, пока ты жив.
С твоей смертью начнет умирать все, что ты поднял.
И никакие дети его не спасут.
Оно может умирать медленно, но умирать будет, пока кто-то не расспросит людей и не начнет сначала.
И снова пройдет все пути развития: незнание, знание, брезгливость, усталость, раздражение, умение, техника и красота.
Твои животные родят ему детенышей, твой дом покажет ему себя, вода потечет снова, его оставят усталость и сон.

Он будет строить для себя, чтоб отдохнуть, чтоб поспать, чтоб подумать на старости лет, но ни спать, ни размышлять в покое уже никогда не будет.

Всё, как и дети, уходит вперед, ничто к тебе не вернется в старости.

Лишь люди будут у тебя учиться и запомнят тебя.

И странно. Всем, что ты создал, ты не воспользуешься никогда.

Там хорошо, где нас нет

Спасибо вы знаете кому, видимо Горбачеву. Мы впервые проверили, действительно ли там хорошо, где нас нет...

– Да, – сказали мы, – очень хорошо!

И хорошо, что нас там нет, иначе было бы хуже.

Где мы есть – там плохо.

Нам плохо всюду. Это уже характер.

Все спрашивают, почему мы мрачные.

А мы мрачные, потому что плохо там, где мы есть.

А оттого что мы там есть, становится еще хуже.

И мы вывозим свою мрачность через мрачную таможенную и привозим туда, где нас нет.

«Нет счастья в жизни», – написано у всех на левой груди и подпись: «Жора».

«Иду туда, где нет конвоя», – написано у всех на правой ноге, поэтому мы и расползаемся.

Оказывается, Жора, нигде в мире нет блатных песен. Это же уму непостижимо!

Это же отсутствует целая литература.

Фольклора нет. Народы молчат.

Это же, оказывается, только у нас.

Половина в тюрьме. Половина в армии.

Отсюда и песни. Оттуда и публика.

Сплошь бывший экз или запас.

Крикни на любом базаре: «Встать! Смирно! Руки за голову!» – посмотри, что будет.

Половина сидит, половина охраняет, потом меняются.

А те, что на свободе, – те условно, очень условно.

На синем женском теле прекрасные голубые слова:

«И если меня ты коснешься губами, то я умерла бы, лаская тебя!»

Это о любви.

До сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных песен...

А у них этого нет. Откуда они узнают, как жить?

Даже этого нет: «Мимо тещино дома я без шуток не хожу».

Частушек нет. Мата нет!

Как у них грузовик задом подает?

Это все мы для них везем с собой.

С молоком матерным впитали и везем.

Усилитель речи. Чтоб нас слышали, мы говорим не громче, а хуже!

Правило «Там хорошо, где нас нет» – в основном верное.

Хотя ребята прибегали – есть места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо.

И населения тоже много, и оно все хитрое, и тоже себе думает: «Там хорошо, где нас нет», – и сюда смотрит.

Сюда смотреть не надо. Мы знаем, как здесь.

Но если их здесь нет, а все равно плохо, может, кто-то из них все-таки здесь есть?

Так же, как кто-то из нас там... хотя проверяли, и морды били неоднократно, чтоб точно – вас здесь нет, нас там нет.

Однако нехорошо и тут и там.

Но таких мест очень мало.

И основной закон они не опровергают, только усложняют доказательство.

Поэтому опять повторяю неоднократно.

Приезжая туда, не делайте вид, что вас там нет!
Вы там есть!
А вот здесь вас уже нет.
И от этого здесь может неожиданно стать лучше.
Но вы этого уже не увидите.
Так что каждый думает сам. Хотя делают вместе.

Бояться не надо!

Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.

– Как ваше мнение?

– А черт его знает.

– Что может быть?

– Все может быть.

– Что делать?

– Давай так: страх испытывать можно, а бояться не надо.

Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились – в ней ничего хорошего. Несколько раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.

Любое правительство либо нас сажает в помой, либо мы его сажаем туда. То есть оно нами руководит оттуда. И даже не руководит, а посылает и отнимает.

Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю, что там было в этой жизни... Много разной водки, поэтому ничего вспомнить невозможно...

– Миша, как, вы меня не вспоминаете? Мы же в поезде литра три выпили...

– Поэтому и не вспоминаю, сынок.

Ибо, как радость, мы пьем истово, до состояния ликования; как горе – пьем до состояния заглушения...

Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко. Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на подоконнике жалко. Это только мы, это только у нас: лампочку в парадной хрясь и любишь, как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри. Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений. Блудных следов своих путаных с другом вдвоем мокрым утром туманным, нелетным, милицейским жалко...

Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым панцирем...

Жалко. Да... За всю жизнь, за все годы, за все жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня – ни одного толкового правительства.

Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко наверху решено, что мы должны мучиться?

Клянусь, из взаимоотношений с властью вспомнить нечего. Ну нечего! Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас же! Из нас же!.. На моей жизни, из того, что я помню, никогда не мог сказать, что эта компания откуда-то приехала. Ну рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще раз напряжемся: рожи, те, что у киоска с утра, те и там, наверху. Как эти не могут двух слов связать, так и те. Эти – глаза маленькие, лицо большое, идей нет, и те – глаза маленькие, лицо большое, идей нет... Эти думают, чего бы с утра, и те... Ни разу никто не сказал правильно по-русски. Все через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем. И чего дальше?

Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:

– Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли виноватых! Давай за нами!

Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен. А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять морду набьют. Где же найти приличный генофонд? Куда деваться человеку не совсем здоровому, но тихому и порядочному?

Почему у нас старый от молодого мозгами не отличается – вспомнить нечего. Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек. И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.

Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях, ожидание в приемных, долгие, бессмысленные разговоры с вождями и кипа собственных жалких заявлений: «Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу похоронить»... И такая же дурная резолюция в левом углу: «Иван Васильевич, при возможности прошу изыскать».

А я мать его в гроб!

Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать неистовое стремление к этой жизни. В тридцать лет начинается поправление резко пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.

– Вам надо на операцию. Соберите вату, бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите с этим всем. Мы вас разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно, отчего вы так худеете.

Полная потеря интереса к своему здоровью со стороны больных и врачей сделала нас одинаково красивыми. Про рты я рассказывал, творожистый цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал. Сутулая спина и торчащий живот дополняют внешний облик строителя коммунизма.

Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь? Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полоску, я уж не говорю – почувствовать...

И так тонко складывается ситуация, что при гражданской войне мы опять будем бить друг друга, то есть беспайковый – беспайкового, низкооплачиваемый – бесквартирного, больной – больного. Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело не дойдет и дачу их не найдешь. И опять дело кончится масонами, завмагами, армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям, от районных до столичных, снова занять свое место. Что они немедленно сделают с криком: «Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!» А мы с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.

– Не готовы наши люди, – говорят вожди. – Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.

Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом веселом и яростном мире. Врагов не бояться. Кто бы ни пришел – уголовник или патриот, вождь или сексот. Кто первый ворвется в квартиру – он и перевернется. Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит. Мужество рождается от трусости. Первый пострадает, второй задумается.

И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому тоже жалеть не о чем. Искать легко – по лицам. У порядочных есть лица, у непорядочных и там и там вместо лица задница... И сходиться.

Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, – нас не будет. Когда появятся законы, разрешающие нам, – нас не будет. А когда они войдут в действие – и детей наших не будет.

Поэтому первое. Свалки не бояться – тогда ее не будет. Землю брать – тогда она будет. Свободу держать зубами. Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, – давить. И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было когда бы то ни было распоряжаться нашей жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.

По Дарвину

Как быстро мы прошли путь от тирании полицейской к тирании хулиганской.

В свободных человеческих стаях сама собой образуется диктатура: в тюрьмах образуется диктатура, в обществе образуется диктатура. Как спасение от крови и как путь к крови.

Естественным путем, совсем по Дарвину. Видимо, это самое простое и быстрое для толпы. Как странно: когда поступаешь как понимаешь сам, меньше ошибок. Как ввяжешься в толпу, как помчишься вместе со всеми – и морду набьют, и спина в палках, и настроение подавленное.

А один пойдешь – и поразмышляешь, и отдохнешь, и девушку найдешь одинокую, размышляющую. И сорвешь с нею цветок, и сядешь вдаль глядеть молчаливо. И чем дольше будет молчание, тем сильнее будет симпатия: не слова соединяют. А если повезет, ее руку, как птенца, накроешь и чуть прижмешь, чтоб не обидеть, а почувствовать.

И шелк почувствуешь, сквозь который она проступает.

Так создана, что сквозь одежду проступает.

От тебя требуется смысл за словами, а от нее – нет.

У нее он во всем: в движении, в покое, в голосе, в молчании.

Ходи один. Одному все живое раскроется.

Одному написанное раскроется. Один – размышляет.

Двое – размышляют меньше.

Трое совсем не размышляют.

Четверо поступают себе во вред.

Смотри, как одиночки себя поднимают, кормят, одевают и этим страну поднимают, и еще другим остается. А коллективы только маршируют.

Старики же толпой не ходят.

И над землей, и над могилой, и над колыбелью стоим в одиночестве и, видимо, стоять будем.

Эммануилу Моисеевичу Жванецкому от сына

Ну что ж, отец. Кажется, мы победили. Я еще не понял кто. Я еще не понял кого. Но мы победили. Я еще не понял, победили ли мы, но они проиграли. Я еще не понял, проиграли ли они вообще, но на этот раз они проиграли.

Помнишь, ты мне говорил: если хочешь испытать эйфорию – не закусывай. Это же вечная наша боль – пьем и едим одновременно. Уходит втрое больше и выпивки, и закуски.

Здесь говорят об угрозе голода. Но если применить твое правило, голода не будет. Все будет завалено. А пока у нас от питья и закусок кирпичные рожи лиц и огромные животы впереди фигуры, при которых собственные ноги кажутся незнакомыми.

Так вот. В середине августа, когда все были в отпуске и я мучился в Одессе, пытаюсь пошутить на бумаге, хлебал кофе, пил коньяк, лежал на животе, бил по спинам комаров, испытывал на котках уху, приготовленную моим другом Сташком вместе с одной дамой, для чего я их специально оставлял одних часа на три-четыре горячего вечернего времени, вдруг на экране появляются восемь рож и разными руками, плохим русским языком объявляют: «ЧП, ДДТ, КГБ, ДНД...»

До этого ввали, после этого ввали, но во время этого ввали как никогда. А потом пошли знакомые слова: «Не читать, не говорить, не выходить. Америку и Англию обзывать, после двадцати трех в туалете не ...ать, больше трех не ...ять, после двух не ...еть».

А мы-то тут уже, худо-бедно, а разбаловались. Жрём не то, но говорим что хотим. Даже в Одессе, где с отъездом евреев политическая и сексуальная жизнь заглохла окончательно, встрепенулись. И встрепенулись все! Кооператоры и рэкетеры, демократы и домушники, молодые ученые и будущие эмигранты.

Слушай, пока нам тут заливали делегаты, депутаты и кандидаты, мы искали жратву, латали штаны, проклинали свою жизнь, но когда появились ЭТИ, все вдруг почувствовали, что им есть что терять. Не обращай внимания на тавтологию, в Одессе это бич. Слушай, я такого не видел. По городу ходили потерянные люди. Оказывается, каждый себе что-то планировал. Слушай, и каждый что-то потерял в один день. Вот тебе и перестройка, вот тебе и Горбачев.

Одна бабка сказала: «А я поддерживаю переворот. Масло будет». Ее чуть не разорвали...

– Масла захотела! Она масла захотела! Ты что, действительно масла захотела?! Вы слышали, она масла захотела!

– Кто масла захотел?

– А вон та, в панаме.

– Это ты, бабка, масла захотела?

– Она, она.

– Иди, ковыляй отсюда. Масла она захотела!

А настроение было хреновое, отец. Я затих. Опять, думаю, буду знаменитым, опять в подполье, если не глубже. А твой проклятый солнечный город у моря и в мирное время отрезают ото всех киевским телевидением. Ни одной новой московской газеты, ни одной передачи, а тут вообще всюду радио и из каждой подворотни: «...запретить, не ходить, не ...ать, не ...ить».

Так что сию – жду звонка. Звонит наша знаменитая певица, ты уже ее не знаешь, отец. Перелезла она через забор своего санатория, и пошли мы с ней на пляж «Отрада». Жара. Народу полно.

«Эй, – кричит она, – вставайте. Вы что, не знаете, что чрезвычайное положение?» Все сказали: «Не знаем». А кто-то сказал: «Знаем». А кто-то сказал: «Нам вообще на это дело...» А кто-то даже головы не поднял.

– Вы что, с ума сошли? – закричала она. – Это я, Пугачева! Вставай, народ.

Тут их всех как ветром собрало.

– Ты смотри, – закричали они, – Алла Борисовна. Сфотографировать можно?

– Давай, – закричала она, – только с этим, со Жванецким давай.

– Давайте, – закричали тридцать фотографов. – А автографы можно?

– Нет, – сказала хитрая певица, – это плохая примета.

Никто не понял, но все согласились.

– Чрезвычайное положение, все запрещено, – вскричала она, – поэтому мы все сейчас пойдем на другой пляж. Сколько нас здесь?

– Человек пятьсот.

– Мало. Еще давай. Митинги запрещены, но у нас не митинг, а демонстрация. Что будем делать, если нас арестуют?

– Перебьем всех, – радостно ответила толпа.

– Тогда пошли на другой пляж. Там еще людей соберем.

Все пятьсот с фотографами и детьми пошли на соседний пляж, там присоединилось еще пятьсот.

– А теперь все в воду, – закричала певица, – как на крещении.

– Сейчас я разденусь, – крикнул один.

– Не раздеваться! Кто в чем. Чрезвычайное положение.

И все вошли в воду. Пятьсот и еще пятьсот запели «Вихри враждебные веют над нами», и запевалой была она, и они были хором. А я на берегу проводил летучий митинг-беседу с теми, кого интересовало, что такое ЧП, ДП, КГБ, КПУ.

– А теперь, – сказала Алла опять гениально, – вы все останетесь здесь, а мы пойдем.

И мы пошли. А из всех щелей Одессы дикторы Всесоюзного радио шипели: «...запретить, сократить, наказать, посадить». Настроение у нас стало прекрасным. Мы были наконец вместе со своей публикой, и мы не знали, мы не знали, мы, к стыду своему, не знали, что в Москве народ вышел против танков.

Представляешь, отец, когда ты жил, люди боялись анекдотов, когда я жил, люди боялись книг, теперь, когда живут они, они не боятся танков. Вот что значит людям есть что терять. Тавтология наш бич.

В общем, когда в Одессе так все плавно шло в пропасть, в Москве начались загадки. Те восемь побежали, не потерпев как следует поражения. Они поехали к тому, кого свергли, жаловаться на провал. Но он их не принял. Он сидел в заключении, окруженный крейсерами, и не мог выйти. Он, оказывается, был здоров.

Он не то что не принял заговорщиков, он их послал по-русски, и они сидели в приемной, как побитые курицы, вместе со своими танками и самолетами. Он сказал: «Почините мне телефон немедленно». Они тут же ему починили. И он разжаловал их всех по телефону, чтоб не видеть их в глаза, хотя ближе них у него никого не было.

– Пусть теперь никого и не будет, – сказал он и пошел к врагам, раскрыв объятия.

Враги встретили его как родного. А хуже друзей у него никого не было. И к нам приехал совсем другой человек. Уже четвертый президент за последние полгода. Сейчас это решительный, твердый, неумолимый, даже слегка кровавый демократ. Никто не знает, что он делал эти три дня. Про его друзей знают, кто чем занимался до мелочей. А что делал он – не знает никто. Но мы его безумно любим, потому что и так нет продуктов, топлива и одежды, еще его не будет, такая скука зимой будет, вообще помрем.

Тот второй, что его заменил, покрепче, но не умеет выражаться, не сообразив. Наш выражается запросто. Не думая. Спроси его: «Как вы относитесь к указам предыдущего?» – «Я пришел в семь утра», – скажет он...

Ни на один вопрос не отвечает, хотя смотрит приветливо, чем и завоевал всеобщее уважение. А тот, который завоевал всеобщую любовь, крепко думает. Это видно. И выражается, хорошо подумав, чем уже навлек на себя и на всех нас огромные неприятности.

Но это все неважно, отец. Мы сейчас все кайфуем! Во-первых, мы разбились по республикам окончательно. Хотя у нас единое экономическое, политическое, полуголодное и больничное пространство, но на этом пространстве нет ни хрена и не ходят поезда. Самолеты преодолевают это пространство, стараясь не садиться. Но мы сейчас все разбились по республикам. Все выставили таможи. Потому что в одной республике нет мяса, в другой нет рыбы, в третьей нет хлеба. И мы хотим знать, где чего нет, и хотим это положение закрепить.

Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом – так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Все с трудом говорят на родном языке, у каждого своя армия с пиками, мушкетами, усами и бородой. Дозорные сидят на колокольнях. Как с соседней территории увидят войско, кричат вниз, машут флагами и пускают дым. Коней нет, волов нет, техники нет, поэтому войска идут пешком долго, пока дойдут. Но говорить им «какие вы отсталые» – нельзя. Очень обидчивые. Уж как стараются их не обидеть, все равно обижаются и пики мечут во врагов. Но это скорее весело, хотя очень плохо.

Да, забыл тебе сказать, отец. Помнишь, ты все бегал на партсобрания, а по ночам тайно делал аборт? Так вот этого теперь нет. Нет, аборт есть. А этой больше нет. Ты ее помнишь как ВКП(б)... Нету! Разогнали... Помнишь, если раньше у кого в толпе был суетливый взгляд – это были мы. Теперь это они, Коммунистическая партия большевиков, о необходимости которой говорила вся страна, попряталась.

Помнишь, среди помоев и дерьма стояли здания с колоннами, а впереди Владимир Ильич показывал рукой в разные стороны и подмигивал левым глазом в птичьем помете: «Правильной дорогой идете, товарищи». А на указательном пальце сидел какой-то мерзавец из голубей и дискредитировал направление окончательно. Теперь ВКП(б) выезжает из этих колонн: Ильич выезжает из Мавзолея, и они вместе переезжают на новое место... Опять тавтология... Умоляю!.. Да... Так они переезжают на какое-то кладбище в Ленинграде.

Да! Совсем забыл. Ленинграда-то больше нет! Слушай! Как мы все проголосовали. Еще до ППП. Я буду сокращенно писать, чтоб тебя не утомлять. ППП – это Провал Попытки Переворота. ГППП – это Герой Провала Попытки Переворота. УППП – это Участник Провала Попытки Переворота.

Так вот, еще до ППП мы все ка-ак проголосовали: хотим Санкт-Петербург.

Ну, ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь из нас доживет?! Все большевики взвыли. Как?! Кровью и потом, блокадой умыто. Они до сих пор хвастаются потерями. Но на самом деле они понимали, что в это название никакие райкомы не помещаются: «Санкт-Петербургский обком ВКП(б)». Я пишу ВКП(б), чтоб тебе легче было понять. Она теперь была КПСС. Слушай, как безграмотно: «Она теперь была КПСС». Мой учитель Борис Ефимович Друккер переворачивается в гробу.

А кто вам виноват? «СССР – СЭС – КПСС». Не дай бог произнести – со всех дворов кошки сбегаются, думая, что их накормят. Мы тоже, папаня, сбежавшись на это ПС – ПС – ПС, ожидали семьдесят четыре года. Мне Генрих рассказывал. У них во дворе Берта чистила рыбу. Все коты сидели вокруг. Вдруг одноглазый по кличке Матрос так мерзко взвыл: «Мяу!» – Ша, – сказала Берта, – это пустой разговор...

Так и мы с КПСС.

Так интересно, как стало, не было никогда.

Жить этой жизнью гораздо лучше, чем жизнью животных, которой мы жили.

Тавтология такой же бич Одессы, как отравления питьевой водой.

Но ничего, Это тоже интересно. Мы тут уже полюбили эти внезапности. Такое ощущение, что все события, которых не было все эти годы, собрались сейчас. Дай Бог нам пережить их без потерь.

Хотя каждый ходит приподнятый.

Приподнятый и твой сын под той же фамилией.

7 сентября 1991 г., Одесса

Родина, страна, держава

Родина, страна, держава...

Родина – где ты вырос.

Страна – где ты живешь.

А держава образуется благодаря пограничникам. Если бы не они, разлетелось бы все к чертовой матери и разбрелось бы по всему миру.

Честь и слава пограничникам, стягивающим державу, стягивающую столь разные народы в единое кудахтающее и завывающее целое.

Это уникальное явление, когда в одной корзине и волк, и кролик, и лиса, и петух, и гиена, и все живут вместе, и даже дают концерты, называемые Хороводы дружбы и Дни литературы.

Эх ты, РОДИНА-страна!

Сексуальная революция

Чего-чего, а от скуки не помрем – семьдесят лет в революции. Стаж огромный. На что нас только не поднимали: Гражданская война, коллективизация, индустриализация, война, захват соседей, борьба с учеными, борьба с писателями, борьба с Америкой, битва за хлеб, Братски и БАМы...

Ни минуты покоя – походные костры, вагоны, рюкзаки, бараки. Чуть хуже, чуть лучше... Все время чего-то не хватало, все время кружка на цепи... То лекарств, то хлеба, то картошки... Чего там!..

Однокомнатная на троих и триста рублей на похороны... Уж чего-чего – скучать не скучали. Все затихли давно, а мы на целину поехали, а мы сельское хозяйство поднимали.

В мире рок-н-ролл, автомобили, видео, а мы на БАМ поехали. Опять в пургу, тайгу. Ведь поехали же. Нас никто и не обманывал. Сказали БАМ строить – мы поехали. Сказали Братск строить – мы поехали. Сказали затопить – мы затопили. Все сделали. Стоят, стоят Волго-Дон, Братск, БАМ, целина. Сам видел, все стоит. Города стоят – Братск, Ангарск, Нижнекамск, Нижневартовск, – и ничего в нашей жизни не изменилось. То хуже, то лучше в рамках очень плохого.

А мы не скучаем, поэмы пишем, у костра поем, вечные революционеры, тараканы-передвижки. Снуем на перевязанных ногах... И виноватые все передохли. Уже вторые виноватые скончались. А мы все снуем с песнями под гитару. Иногда кулачки в воздух подымаем: «Даешь Кузбасс, Донбасс, космос, Соликамск!..» – и с оркестром на поезда! Тридцать – сорок лет на севере, чтоб затем на юге немного без здоровья и зубов...

Не скучали. В антиалкогольную борьбу включились против себя и долго воевали, круша пивзаводы, вырубая виноградники. Не-не, с нами не соскучишься и у нас не заскучаешь.

В перестройку вот включились, на площадь пошли, в секс рванули... Оказывается, там тоже отставание. Мы ж-то не знали. Мы ж примитивной техникой ковырялись, а там такие достижения... Один против трех, два против пяти... Четные пары уже устарели. В состоянии постели, в состоянии воды, в состоянии железнодорожного вагона, на базе парковой скамейки и, что главное, – открыто, азартно, при поддержке окружающих с часами в руках и мелом...

Ну, на нашем питании Италию и Францию не догнать, но с сексуально отсталыми, типа Камерун и голодающая Эфиопия, можем. Литература уже пошла косяком. Мужчина в разрезе замечательно показан. Теперь видишь, где у него, подлеца, зарождаются эти устремления и как он, мерзавец, действует в определенной обстановке. И конечно, неотразима дама в разрезе. Изучаешь эту красоту и понимаешь, куда у мужчины все силы, все средства, все заработанное в тайге на севере уходит.

Поразительно, как на тех же гнилых овощах, на тех же нехватках совсем другое тело получается. И жрать нечего, и надеть нечего, а нежная она и всяческая. И очень хочется ее, конечно, от этой жизни заслонить. Вынуть ее отсюда, ватой обернуть и самому пристально наслаждаться и рассматривать.

Но нет, протестует, вырывается, желает участвовать в общественной жизни всей полнотой своей, всем врожденным ароматом. Ну ничего, может, хоть они нам жизнь исправят. У мужиков не получается. У них всегда позиции разные. Называется это – альтернатива. То есть стенка на стенку. Как один что-то придумал, так появляется второй и придумывает противоположное. В животном мире это давно есть: два петуха, два козла, два барана на мосту и так далее. Женщина их может примирить, но ей некогда, она еще и в сексуальной

революции участвует, опровергая тезис большевиков, что советской женщины в сексе нет. Это неправда! Она там есть.

А чтоб успокоить родителей, скажу: секс, конечно, не панацея, но и не трагедия. Проблемы секса бояться нечего – по мере исчезновения продуктов исчезнет и она. Вы же видели мужика в разрезе: там эта линия прямо от желудка идет. Если он утром ничего в топку не бросит, он к вечеру не то что ужалить, жужжать не сможет. А у барышни наоборот – ничего не меняется, только лучше становится. Это из разреза хорошо видно.

В общем, секс, как и рынок, требует изобилия продуктов питания, богатого выбора одежды и развлечений. Мы только в начале сексуального пути находимся, когда мужик на остатках продуктов питания еще ярится, ва-банк идет, насилие устраивает, как бы демонстрируя превосходство грубой силы. Но это считанные дни. Мир это прошел. Мужика ожидает крупный спад, связанный с выходом на мировой рынок, с бизнесом, риском и банкротством. И тогда поднимется женщина, уже как следует одетая, причесанная, и предъявит счет. Настоящий. За все ночные унижения, холодные парадные, мокрые скамейки... Тут мужчине, кроме «Мерседеса», предъявить нечего. Борьба у них пойдет – у кого какой «Мерседес». И тогда женщина опять начнет подниматься, до следующего цикла подъема мужчины, связанного уже с нехваткой нефти. Опять мускульная сила и так далее...

Но нам все это еще предстоит пройти, мы в самом начале сексуальной революции. Мы впервые увидели отдельно мужчину в разрезе и женщину. Нам еще предстоит увидеть их вместе.

Телефонное одиночество

Я когда-то писал: «Все! Все!», писал я. «Чайник выкипел, газ кончился. Коты разбежались. Все!» – писал я. Полное одиночество! И оно наступило. Разговор с другом – шестьдесят рублей минута. Прочсть ему крохотный отрывок – триста рублей. Услышать его вздох – девяносто. Узнать, что ничего не вышло, – сто двадцать... пятьсот десять, – чтоб в этом убедиться.

Раньше неудача – двести грамм по рубль восемьдесят и бутерброд: килька с яйцом на белом хлебе – сорок копеек. Сейчас пятьсот десять плюс триста без выпивки. Восемьсот рублей за то, что ничего не вышло? Рынок!.. Это рынок. Полное одиночество продавца ненужных вещей.

По местному разговаривать не с кем. Наторгуешь своим телом и снова выходишь на связь. О рекомендациях разговора нет. Кто там что успевает? Одно замечание по языку – это четыре обеда в хорошем кафе. Если переписываться, ты узнаешь, что эту проблему стоит копнуть, когда уже ни этой проблемы, ни этого правительства, ни этого народа в помине нет.

Он оттуда звонит молнией, называет свой новый номер и бросает трубку, как кусок раскаленного угля. Он вообще мыслит шекелями, а говорит за рубли. За рубли он говорит очень охотно... Он говорит даже после того, как вы положили трубку. А для телефонной станции не имеет значения, кто разговор закончил, ей важно, кто продолжает...

«Все! – писал я. – Все!» Это литературные дела. А личные? Услышать, что она сдала на права, купила машину, заказала торт из мороженого, съела его с каким-то местным и теперь сидит, курит, обошлось в тысячу двести рублей, хотя никто ей не поверил...

Шестнадцать часов вкалывал, опоздал в гастроном, хлебной коркой обтер холодильник изнутри, чтобы услышать, что сейчас у нее ночь, но она проголодалась и жрет пудинг и бекон или наоборот и очень скучает, но хочет спать... В общем, нафальшивила на восемьсот двадцать рублей прямо мне на пустой желудок. «Я очень скучаю», – почему-то шептала она.

«Я нужен здесь», – твердил он. Вдвоем они набрехали на тысячу сто десять рублей. А узнавать, что она там ест, на чем спит, в каком бассейне торчит, и еще платить за это дикие деньги?!

«Все! – писал я. – Все!» Такого одиночества еще не бывало. Унижаться можно, когда за это платят тебе, но унижаться и платить самому?!

«Все! – писал я. – Все!» Выставляйте счета! Ничто так не подчеркивает одиночество, как счета за телефон и свет!

Да! Если она рядом, нужно меньше света. Да!

Итак, попытки жить литературной и личной жизнью по телефону приводят к быстрому разорению, легкому помешательству и полному одиночеству торговца ненужным товаром.

– Чем вы торгуете? Стыд! Вы бы хоть их обработали. Совесть у вас есть?

– Совесть есть. Не хватает этих... А! Не хотите, не берите.

Что-то вы стали злым

– Что-то вы стали злым, Миша...

– Да? С чего бы это? Ты смотри, а мне казалось, у меня все тот же тихий незлобивый юмор. Что вы? Я никогда не был злым.

То была прекрасная покойная жизнь, ничего не печаталось, он тихо и покойно жил на частные пожертвования в частной беседе на частной квартире. А политбюро все заседало и заседало. И ничего не печаталось, и ничего не выходило, и зарплаты не было, и был он невыездным все пятьдесят лет, и комиссия из двадцати человек обсуждала каждые полслова, а незнакомые люди обнимали и говорили:

– Ну, стрелять тебя надо!

– Что, не понравилось?

– Наоборот. Но как ты не боишься?

– Боюсь...

– А чего ж тогда?..

– А как же иначе...

– Ну смотри... Главное, не становись злым.

– Да уж стараюсь...

Да, да, главное, не злиться. Тихо так, по-доброму. Ни квартиры, ни черта даже по этим масштабам. Шути без конца за выпивку, за ужин, выступай за телефон, за пылесос... Ничего, злым не стал, так, слегка раздраженным. А тут кончилось одно время, другое началось... И началось другое. Стал предметом вожделения. Девица. Все хотят. Тиражируют, зарабатывают. Где? Как? Я не разрешаю. Никто не спрашивает, записывают, крутят, печатают, снимают, показывают. Облепляют и по капелькам во все углы.

– Смотри, Миша, только не становись злым.

– Да где ж тут станешь злым. Зачем?

Кто-то звонит откуда-то:

– Вы в наш город не приедете? Очень зовем.

А он до сих пор не научился прямо и грубо говорить: «Нет, не приеду. Сидите там сами».

Он говорит:

– Я подумаю...

– Значит, мы можем надеяться?..

А он не решается сказать: «Нет, не надейтесь. Живите так...»

Он говорит:

– Ну что ж, надейтесь...

А через неделю:

– Ты что, согласился там выступить?

– Да нет...

– Как нет! Афиши висят, в газетах написано.

И он едет туда, едет, чтоб быть добрым. Не быть злым... И дописался.

В этой любимой стране, где всегда ждешь удара сверху, удар снизу считается неожиданным. Оказывается, ты опять чужой. Когда ты был чужой чужим – это понятно. Сейчас чужой своим. Они подсчитали. Они определили. Опять и снова. Снова и опять. Столько лет без усталости. В одну точку. Жрать нечего, надеть нечего, работать некому, а здесь ведь хватает энтузиазма звонить, писать, обзывать неуголимо.

И уезжают все, бегут потоком, а эти неуголимо бьют и заводят тебя. Чудовищным усилием сворачиваешься, чтоб не заорать в ответ, чтоб не плеснуть свою ненависть в этот пожар.

– А знаете, раньше вы как-то были добрее. Ваш юмор стал как-то более злым. Чем вы можете объяснить?..

– Даже не знаю, чем объяснить. Это и для меня загадка. Буду внимательнее.

– Да. Надо быть внимательнее. Люди ждут от вас доброты.

– Пожалуйста... Хорошо... Ладно... До свидания.

Ну что ж, вы правы, почему вы за свои деньги должны видеть злую перекошенную рожу? Нет-нет-нет. Надо вспомнить что-то хорошее. Все-таки пятьдесят шесть лет. Я должен, я обязан вспомнить что-то хорошее. Ведь оно же было. Я же был счастлив. Только вот от чего? Я вспомню. Обязательно. Обязательно... Сейчас-сейчас-сейчас. Нет – не это... И не это... И не это... Я позвоню.

Автопортрет

Талантом, а не трудом он добился следующих прав. Первое. Не вставать утром с целью наживы.

Второе. Вспоминать числа, а не дни недели.

Третье. Во время танцев не подниматься из-за стола, а танцевать там, внизу.

Четвертое. Неудачно шутить, лукаво глядя вокруг. Отсутствие смеха считать не своим, а их недостатком. И внутри злорадно: «Ничего, вечером поймут».

Пятое. «Ты меня не понимаешь» – говорить серьезно. Хотя что там понимать, так же как и чего там не понимать. Организм потребляет больше, чем производит. Отсюда болезни и горячая дружба с соблезниками. Добился права не понимать человека по своему усмотрению.

Шестое. Добился права не обижаться никогда. Это удел слабых.

Кто-то хочет на тебе заработать – пожалуйста, кто-то выдает себя за тебя, тебя за кого-то – ну что ж, ну что ж...

Кстати, как только поверил, что стал умным, наделал кучу глупостей. А вообще, всем все, пожалуйста, в пределах совести, совесть в пределах Библии, Библия в пределах знания.

Седьмое. Стал понимать: радость – это друзья, женщины и растения. Счастье – когда они вместе. Видел уже друзей с женщинами среди растений. Знает, о чем говорит.

Восьмое. Отношение к женщинам – восторженное. Лучшего не бывает. К ним надо возвращаться даже после смерти. Понимает, что внешность женщины – работа мужчины. Но все остальное: и медленная голова на грудь, и медленная рука на плечо, и переход на «ты»... ждешь как-то, как-то... Да...

Короче, потребительское отношение к женщинам поменял на восторженное, а они, к сожалению, наоборот. Ну что ж, ничего.

Девятое. Ничего.

Десятое. Ничего.

Жаль, что на все простейшие вопросы организм отвечает невпопад.

Одиннадцатое. Жаль, что организм просыпается позже владельца, и засыпает отдельно, и не подчиняется как раз тогда, когда все, буквально все на него рассчитывают.

О чем жалеет? Двоеточие.

Двенадцатое. Не там. Не там это все происходит.

Тринадцатое. Не тогда.

Четырнадцатое. Еле вырвался из прошлого, тут же влип в настоящее.

Пятнадцатое. Коль судьба не сложилась, хоть бы биография была. Не может понять, куда устремлена судьба, во что бьет биография? И кто следит за поступками?

Шестнадцатое. Пока все кричали: «Бога нет», он в него верил... Как все изменилось.

Семнадцатое. Невозможно бежать в нашей толпе, ни на время, ни на расстояние. Только по кругу. Бежишь, враги мелькают, первые, вторые, снова первые, снова вторые. Стоят, прищурясь.

Очень хочется их уничтожить. Но страшно.

Надо среди них выбирать самых беспомощных.

Восемнадцатое. Возраст совпадает с размером одежды и мешает в шагу.

Деятнадцатое. Имущество здесь очень дорого, но имеет одну особенность – быть конфискованным. Это не зависит от имущества. Просто пришла пора. И тебя либо награждают орденом с конфискацией, либо выездом с конфискацией, либо просто поздравляют с конфискацией, и все.

И ты опять живешь.

И деньги, которые копил, вдруг пропадают.

И ты снова налегке, как тогда, в студенчестве.

Снова молод, снова чист и пуст, как зимний лес, где шелест ветвей не перейдет в плодовый стук, хотя по жизни разбросаны сверкания... То есть снова о женщинах и выпивке. Они слились. И хотя добавились стук сердца и головная боль, но отказаться невозможно. Останутся стук сердца и головная боль. Кто хочет с этим остаться?

Двадцатое. Отношения с детьми не сложились. Придется рожать до полного взаимопонимания.

Двадцать первое. Из имущества осталось место жительства.

Будет бороться за жительство в данном месте, хотя разумных аргументов в защиту этого не имеет.

Двадцать второе. Счастлив ли? В разное время дня на этот вопрос отвечает по-разному, но всегда отрицательно.

Двадцать третье. Вопросы творчества волнуют, но не интересуют. Просто не в силах переплюнуть парламент и межнациональные конфликты, с огромным успехом идущие по стране.

Сатиру отшибло полностью. Низы жалко, а верхи отвратительны.

Если нам разрезали живот, и не оперируют, и не зашивают – какая там сатира, кого высмеивать, кого успокаивать?

Низ достиг своего низа, верх достиг своего верха.

Все! И терпения больше нет.

Умные разбегаются, дураки не умеют. Хитрые в тупике.

До чего дошло! Хитрые в тупике. Вот и радость в этой жизни.

Хронические обманщики и демагоги в тупике.

А сатира бедная свернулась ежом, направляя иглы во все стороны, защищая саму себя.

Двадцать четвертое. Тем не менее к своей внешности относится тепло.

Многолетняя борьба с животом закончилась его победой. Война с лысиной проиграна. Глаза уже сами отбирают, что им видеть. Мелкое отсеивается... Роман целиком виден, отдельные буквы – нет.

Двадцать пятое. Забыл.

Двадцать шестое. Забыл.

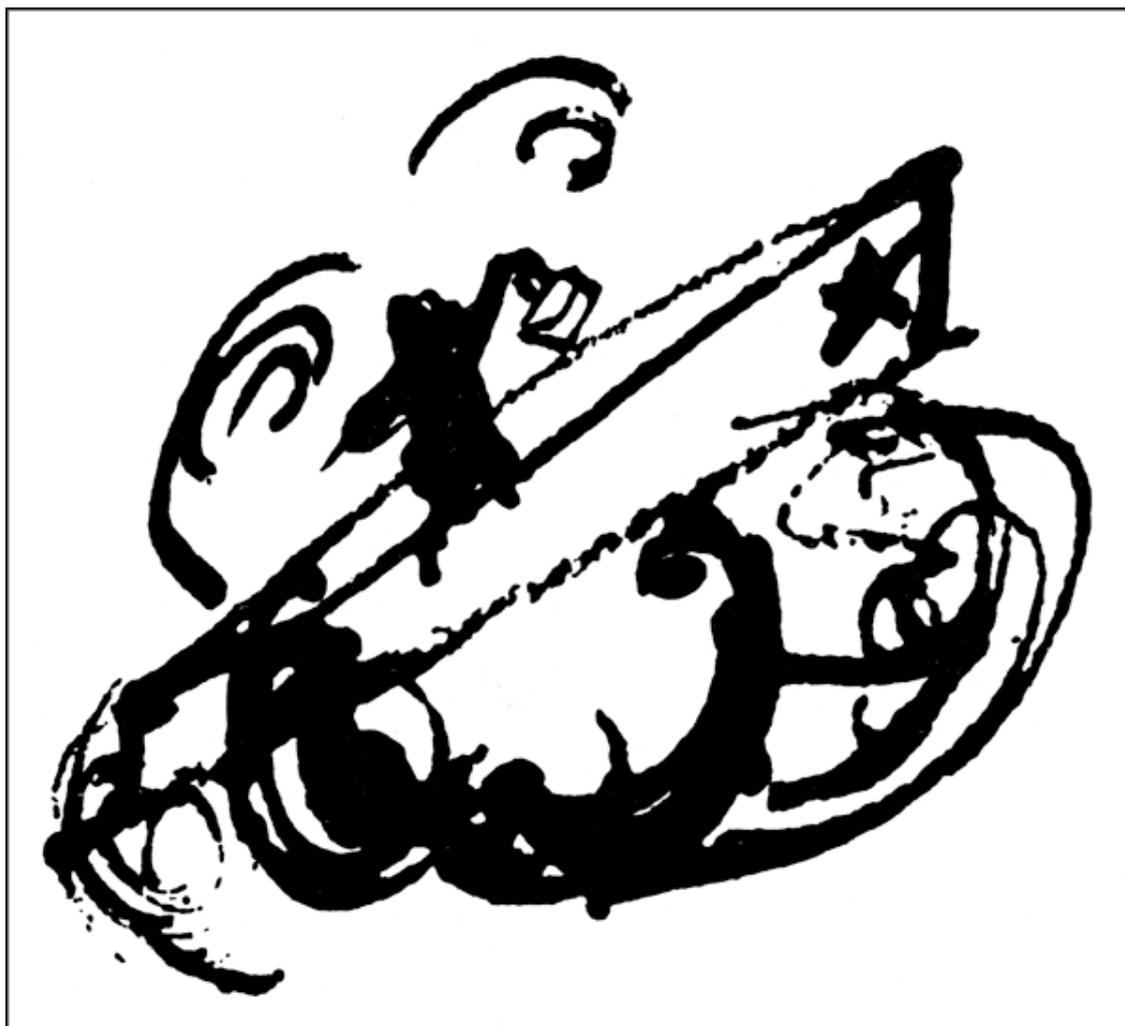
Двадцать седьмое. Вспомнил. Безумно счастлив в личной жизни. Но одиночество лучше.

И это, как говорят наши депутаты, однозначно.

Двадцать восьмое. Культурный уровень понизился до здравого смысла!

Двадцать девятое. Жив еще... Хотя...

Тридцатое. Когда-то считал шестьдесят закатом, сейчас с этим не согласен!



Судьба паучья

Повис на всем своем, как на паутине. Всем, что создал, сам опутан.
Быстро перебегаю от позднего к раннему. Или жду, затаюсь.
Кто-то запутался.
Еще один.
Запутались сами и дают мне пищу.
Их жизнь, их кровь, их ссоры.
Но они кончились.
Я перебежал и повис, раскачиваясь.
На том, что из меня, опустился ниже. Еще ниже. Высматриваю.
Ветер колышет мою паутину.
Пусто.
Раскачиваюсь.
Тку еще.
Без пищи нет паутины.
Без паутины нет пищи.
Вишу на последнем. Высматриваю. Передвигаюсь еще медленнее.
Неужели заметят и не запутаются?
Вишу, раскачиваюсь.
Глаза уже плохи.
Внутри пусто.
Побежал к раннему. Никого.
К позднему... Ничего...
Сволочная судьба паучья.

Население и народ

Разговор начальников

– Ох, Петраков, народ терпеть не будет, если ты оставишь население без, допустим, газет.

– Какие могут быть, допустим, сомнения. Оставить население без газет нам не позволит народ.

– Народ, между прочим, может внезапно спросить: а как услуги населению?

– Платные?

– Безусловно.

– Или бесплатные?

– Конечно.

– Повышение платных услуг населению есть общенародная задача. Честно говоря, Василь Василич, население мне не нравится.

– А народ?

– Ну, народ... Наш народ с населением не сравнить. Вы ведь тоже чувствуете разницу.

– Да, кто же не чувствует.

– А группки, какие противные бывают группки, формирования...

– Есть еще отдельные элементы. Те вообще мерзкие.

– Есть еще горожане.

– Да, сельские жители и глубинка... Так, все, не отвлекайтесь. Мы с вас спросим. Мы уже спрашиваем: как с обеспечением населения, допустим, лекарствами?

– Допустим, населения?

– Да, да.

– И чем вы спрашиваете?

– Лекарствами.

– Обеспечим.

– Я в этом уверен?

– Безусловно.

– Здесь сомнений быть не может?

– Абсолютно.

– Народ будет обеспечен лекарствами?

– В первую очередь.

– А все остальные?

– Тоже.

– Пока о населении говорить не будем.

– Трудности с валютой.

– Народ не должен это чувствовать.

– Безусловно.

– Тут очень важна фондоотдача.

– Как никогда.

– Вы думаете над этим?

– Необычайно. В этом году необычайно.

– Население не должно испытывать тревог по этому поводу.

– Никаких.

– А отдельные элементы?

– Эти могут.

- Ну тут объяснения не помогают.
- Значит – изоляция. ОМОН. Резиновые палки.
- Скажите, а вы что, употребляете эти предметы против населения?
- Только против элементов.
- Значит, население может быть спокойно?
- Повсеместно.
- Теперь насчет лекарств.
- Повторяю. Полная уверенность. Тревожного положения нет. Небольшая авария на Уральском таблеточном. Обычный сбой.
- Есть ли жертвы среди населения?
- Человеческих нет.
- Ага...
- Только среди потребителей. Менее трех процентов. В пределах нормы.
- А нормы утверждены?
- После всенародного обсуждения мною лично.
- Значит, обеспечение лекарствами...
- ...вопрос наибольшей важности, общенародная задача.
- А, даже так. Будем считать вопрос закрытым?
- Самым твердым образом.
- Товары, услуги, подготовка к зиме?
- Вне всяких сомнений. Предмет самого пристального изучения внимания. Уже на ближайшее время намечены самые широкие перспективы.
- Ага... Население может быть спокойно?
- Безусловно. Для беспокойства населения нет оснований, одни только поводы и спецотряд особого назначения.
- То есть беспокойство население...
- ...проявлять не должно.
- Не имеет права.
- Значит, рост платных товаров, услуг, подготовка к зиме, спрос?..
- Вот здесь – в двух томах. Отработанные и переработанные просьбы, переплетенные и сжатые между собой. Мы уже приступили к выработке таких же унифицированных сжатых ответов. В самое ближайшее время будут приняты конкретные решения по проектам реконструкций предприятий и учреждений.
- Вот даже так?
- Безусловно.
- Значит, население?..
- Передайте населению горячий привет от Родины, а также от меня лично. В целях скорейшего обеспечения убыстрения нарастания получения продуктов для быстрейшего их употребления был посещен ряд предприятий общественного пропитания, где трудящиеся обратились со своими просьбами и проблемами, позволяющими сделать вывод, что питание работников общепита налажено, они нуждаются в транспорте и жилье.
- А вот могут они накормить посетителей?
- Это самый острый вопрос, на который только время даст ответ, хотя нас радует уже то, что хотя бы работники общепита отошли от общего стола.
- А если у них еще решатся проблемы с транспортом и жильем...
- ...эта отрасль нас будет меньше всего беспокоить.
- Вопросы одежды?
- Одежда не является предметом первой необходимости. Тем не менее мы ею занимаемся упорно, и население может быть уверено, что страна и народ думают о том, как

будет выглядеть население и его представители, к примеру прохожие, очередники, призывники, отказники и космонавты. Дома моделей полным ходом разрабатывают одежду для разных слоев населения, мигрирующего по стране. Миграция нас беспокоит. Мигрируют семьи и отдельные мужья. Мигрируют одинокие женщины. Народ требует приковать их к месту. Наша задача – выполнить эти требования народа. Население к Новому году будет одето окончательно.

- К какому Новому году?
- Вопрос решается.
- Иностранцы разведки?
- Как правило, озабочены нашим благосостоянием.
- Как мы можем их дезориентировать?
- Наиболее простым способом: непрерывно меняя благосостояние или, наоборот, не меняя его, что менее дорого.
- В чем разрушительная сила иностранных разведок?
- В вопросах.
- Как?
- Они стараются касаться вопросов, которых мы стараемся не касаться.
- Не есть ли они эти отдельные элементы?
- Они.
- Что в таком случае вызывает озабоченность.
- Не может не вызывать.
- Ага. Толково. Толково. В чем гарантия наших успехов?
- В непрерывном разоблачении происков и врагов, и друзей, и просто посторонних, которых еще очень много у нас.
- Значит, мы можем передать населению, что вопросы одежды, питания, снабжения, лечения, обучения, привлечения и правовых знаний...
- ...находятся под непрерывным всеулучшающимся контролем. Передайте, что народ сегодня живет гораздо лучше.
- В письмах спрашивают: можно ли где-нибудь повидать народ?
- К сожалению, я не уполномочен, хотя думаю, что проблем быть не должно.
- Просто мы много слышали о своем народе. Действительно великий, талантливый, героический. Могло ли бы наше население рассчитывать на небольшую встречу, нам бы это многое дало?
- Не надо забывать, что он измучен революцией, Гражданской войной, Отечественной, индустриализацией, приватизацией...
- Мы все понимаем и много времени не отнимем.
- Я поговорю с народом. Ответ сообщу.
- Очень признательны.
- Простите, а насчет обещания накормить население?
- Абсолютно уверен.
- Когда примерно можно рассчитывать?
- Тут есть нюансы, о которых я сейчас не буду говорить. Но сама постановка вопроса сейчас совсем другая.
- Что, не кормить?
- Наоборот, попробовать накормить.
- Конечно, надо попробовать. Простите, когда будет сделана первая попытка?
- В принципе, я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшие какие-то пятилетки. И из развлечений кое-что подбросим.

– (Смуцен.) Ну, это уж... Даже страшно как-то... Последние годы как-то было не до этого. Да и отвыкли. Из развлечений – пруд, овраг, рассвет-закат, ураган.

– Понимаю. А сейчас, я думаю, можно и кое-что подбросить.

– Тут уж на ваше усмотрение. Если это сложно, то население приспособилось. Смотрит вдаль и на огонь – и достаточно.

– Да нет. Многого не обещаю. Парочку развлечений к празднику.

– Спасибо.

– Значит, ждем.

– Если можно, еще встречу к Новому году?

– До свидания.

С Новым, возможно, годом

Поздравляю всех, кто дожил до 199... года... Никто не ожидал. Они сами не ожидали. Чтоб так долго. В таких разнообразных условиях: от нехватки свободы до нехватки еды. От тюрьмы до сумы всего за шесть лет, и все-таки дожили. И смотрим по сторонам. И ходим по улицам. Дожили. Доковыляли. Всех друзей проводили. Завтрак сократили. Обед разделили с беженцами. Ужин отдали врагам. В будущее смотрим тускло, себя там не видим. Главное – день сегодняшней. Начальство совсем оторвалось и парит в шумной пустоте, распадаясь и сливаясь, принимая то форму облака, то шара, то форму пирамиды. Мы за ним наблюдаем как бы из гроба, с некоторым прощальным любопытством.

Тепло проводили взглядом страны бывшей народной демократии, хочется их погладить по голове, но сил нет. Хочется сказать: «С Новым годом, как вас там теперь...», но – только старый паровозный свист из большой груди СССР.

Поздравляют тех, кто дожил, но особенно горячо тех, кто не дожил. Просто со слезами на глазах. Молодцы! Самый правильный вариант. Можно было бы сказать: «Напрасно поторопились... могли бы попробовать», – но нет! Это от зависти! Как ни тяжело, приходится признаться: ваш вариант лучше!

Поздравляю вас всех! Привет нашим, которые гикнулись еще раньше. Передайте, что все еще тяжело. Передайте тем, кто рассчитывал, что детям будет легче, – НЕТ... Пока нет...

Насчет надежд. Пока тоже нет. Года через три может появиться надежда на улучшение. Лет через пять. Года через три на лет через пять. Так что тем, кто не дожил: «Ребята, вы не промахнулись! Так держать!»

Для тех, кто дожил, мои поздравления гораздо скромнее. Если чего достали к Новому году, не торопитесь. Сытость наступает быстрее, когда откусываешь маленькими кусочками. На штаны можно нашить старые кожаные заплатки и носить очень осторожно. Когда садишься – спускаешь, чтобы не изнасились. Чтоб не изнашивались ботинки, ступню ставьте плоско, не шаркайте. Не мешает вспомнить древнее искусство плетения лаптей, кстати, и красиво, и удобно. Шапку лучше не носить. Капот на веревках. Пропускайте через спину и завязывайте между ногами. В помещении не отвязывайте, чтоб не сорвали.

В лифт с незнакомыми мужчинами не садитесь, даже если вы – мужчина. Только с женщинами. Которым садиться с мужчинами не рекомендуется. Не из-за опасности изнасилования – с пропаданием продуктов исчезнет этот вид преступлений. Из-за отъема сумок привязывайте их к рукам.

Свечами надо запастись уже. Они и светят, и греют, и на них можно жарить рубленные солдатские пояса. Тело хорошо обматывать старыми газетами и мягкими журналами. Тепло от тела тогда уходит медленно. Одновременно вынимаешь и читаешь, если нет сил встать.

Ходить быстрее уже не надо. Блокадники научат, как лучше располагаться против ветра и где в квартире теплее, когда холодно.

Конвертируемость рубля, рынка и изобилия ждать лучше лежа, укрывшись, вдали от окна, грея руки на кружке с кипятком.

Когда окончательно решат дать землю, нас окончательно не будет. Но ничего.

Новые годы теперь идут быстро. Скоро мы присоединимся ко всем, кто бился за лучшее будущее от древних веков до наших дней.

Так что с Новым, возможно, годом! С Новым, возможно, счастьем! Возможно, Ваш.

Рискуют все!

Обожаю наших собратьев по прессе.
Все время приставать к собственному народу и говорить ему: «Вот еще одна реформа, и ты восстанешь».

Потратив столько сил и слов на подготовку бунта, грех его не провести.
Осталось назначить число и для начала повесить афиши.
Свобода, конечно, дороже жизни, но и жизнь чего-то стоит.
Жаль будет, если не удастся воспользоваться свободой из-за нехватки жизни.
А укорачиванием жизни занимаются все.
Дикторы каждый день заботливо спрашивают: «Ну как? Не пора ли?»
Что у нас дальше будет, не знают они.
Как и мы.
Как и руководимое ими правительство.
Никто не знает, что с нами будет.
Это и есть самое интересное.
На этом и можно поймать наслаждение и импровизацию истинного авантюриста.
Рискуем, господа!
Рискуют все!
Ваши карты, господа министры.
Ваши карты, господа иностранцы.
Рискуют все.
По науке в этой стране упорно не выходит, только по наитию.
Ну что ж, значит, опять ничего не получилось!
Значит, больной опять умер.
Приглашаем следующую команду.
Рискуют все.
Жаждой эксперимента и импровизации заразилось все население. Даешь повальную приватизацию.

– А когда же будет восстание? – заботливо спрашивают у народа дикторы ЦТ.
– Сейчас, погоди, – говорит народ, – пока тут еще интересно.
– Так что, восстания вообще, что ли, не будет?
– Да будет, будет. Погоди ты.
– И вы что, будете теперь за богатых? – неожиданно спрашивает радио «Свобода» из Мюнхена.

– Не будем, не будем. Дай им только появиться.
– А вон они, вон они, – показывает радио.
– Мало их пока еще. Дай им разрастись.
– Так ежели они разрастутся, кто ж их бить будет? – снова спрашивает радио.
А народ уже заразился импровизацией.
– На меня давай, на меня. И либерализм, и приватизацию, и трепанацию, и цивилизацию, и интеллигенцию. На меня давай, на меня.
Рискуют все!
Все, кого уважали, кого любили, стали начальниками.
Кричать: «Что они, мерзавцы, делают!» – стыдно. «Что мы, мерзавцы, делаем!» – неточно.
Что с народом?
Рискуют все, господа!

Ох черт, народ начинает понимать, что при попадании наверх они что-то такое видят, чего не видели раньше.

– Ну что там? – кричит снизу народ.

– Да подожди ты!

– Да спина-то устает, за сапогами небось стоите? Ну чего там, ну не изобилие? Хоть чего-то видать?

– Да погоди тут... Сейчас... Тут вообще, кажись, с приватизацией... Этот, что на приватизации настаивал, попав на самый верх, вдруг стал настаивать на централизации.

– Да тут такое... Ну так что? Даем либерализацию с приватизацией.

– Даем, даем... Тут... Может, сначала...

– Эй!

– Чего тебе?

– Дак тяжело.

– Знаем. – И тишина.

– Эй! Чего затихли?

– Чего?.. Эх... Тут эти... вооруженные силы... Тьфу ты... сейчас... – И тишина.

– Дак тяжело.

– Да ты там не шевелись. Ты там... Вообще стоять не на чем. Сейчас вообще как поменяемся местами. У тебя другое правительство есть?

– Нету.

– И стой, не шевелись.

Рискуют все!

Через дыру в заборе чужеземцы видят сплошное мелькание – то правительство прильнет к дыре, то народ.

– Дайте чего-нибудь.

– А вы там обозначьтесь отчетливее. Отчетливее. Кому давать-то?

– От.

Опять мельтешение. Правительство прильнуло.

– Дадите вы там или нет?

– Кому-кому? Вы кто?

– Как кто?

Драка. Уже другое правительство прильнуло.

– Мы суверенное, независимое. Да не мешай ты. Отойди. Убери руки, руки убери!

Отпусти, сука. А-а...

– Ты лучше флот отдай!

– Да? А хутор Михайловский не хочешь?

– Эй, это Европа?

– Да.

– Значит, так, если вы не хотите иметь дело... Стой! Стой... Руки отпусти... Ну дай сказать. Так вот, если вы не хотите иметь неприятности, положите вон под тот камень пять миллиардов. Отойди. Стой. Отойди, дай сказать... Оторвись, козел. Мы тут уточнили – десять миллиардов.

– Да, десять миллиардов под тот камень.

– Послушайте, не давайте им ничего. Это самозванцы. А нас избрал народ. Где ж у меня результаты голосования? Сейчас... Да не трогай. Вот результаты – восемьдесят восемь процентов. Значит, мы требуем на стабилизацию экономики вон под тот кирпич двадцать миллиардов.

– Стой, пусти. Мы вообще исламские государства. Мы здесь никого не знаем. Мы только что получили полный вотум огромного доверия. Вот результаты голосования – сто

двадцать восемь и шесть процентов. Даже еда у нас есть. Мы хотим на религиозную литературу двадцать девять миллиардов. Нет... нет... Не оторвешь... Нет... что-что? Ты не понял. Я не прошу на армию. Я их прошу на литературу. Тсс-с... Все. Тихо. Да, да. (Шепотом.) Там есть щель. Как стемнеет, прошу туда. Конфиденциальная встреча. Никто мешать не будет. Часов давайте в семь.

– Эй, Европа! Не надо в семь, не слушайте их. Это самозванцы, у них нет вотума от народа. Это мы будем в семь у щели.

– Эй, все! Мы отменяем эти переговоры, мы назначаем новые переговоры.

– Екскьюз, мы хотим помочь, но мы не знаем, с кем иметь дело.

– Как с кем?

– Ну, с кем?

– Как с кем?

– Ну, с кем?

– Как с кем? Только не с ними.

– А с кем?

– Как с кем? С нами.

– А вы кто?

– Мы кто?

– Да, вы кто?

– Ну разберитесь между собой.

– Не дай бог, – ответили внутри забора.

– Вот и хорошо, – сказали в Европе.

Рискуют все.

Те, кто остался, рискуют остаться.

Те, кто уехал, рискуют уехать.

Давайте глянем друг другу в глаза.

Риск – благородное дело!

Первый

Президент. Он же генсек ЦК КПСС. Он же председатель Всесоюзного стачечного комитета.

Он же – руководитель оппозиционной платформы.

Он же – сторонник жесткого курса.

Он же – правый, если смотреть слева, и левый, если смотреть справа, хотя сам утверждает, что в центре. Но это оптический эффект.

Он же – за независимость на местах при полной зависимости от центра.

Он же – за выход из СССР кого угодно, только с СССР вместе.

Он – за переход к рыночной экономике, не выходя из социализма, и за все виды собственности, кроме частной, личной, индивидуальной и вообще принадлежащей кому-то.

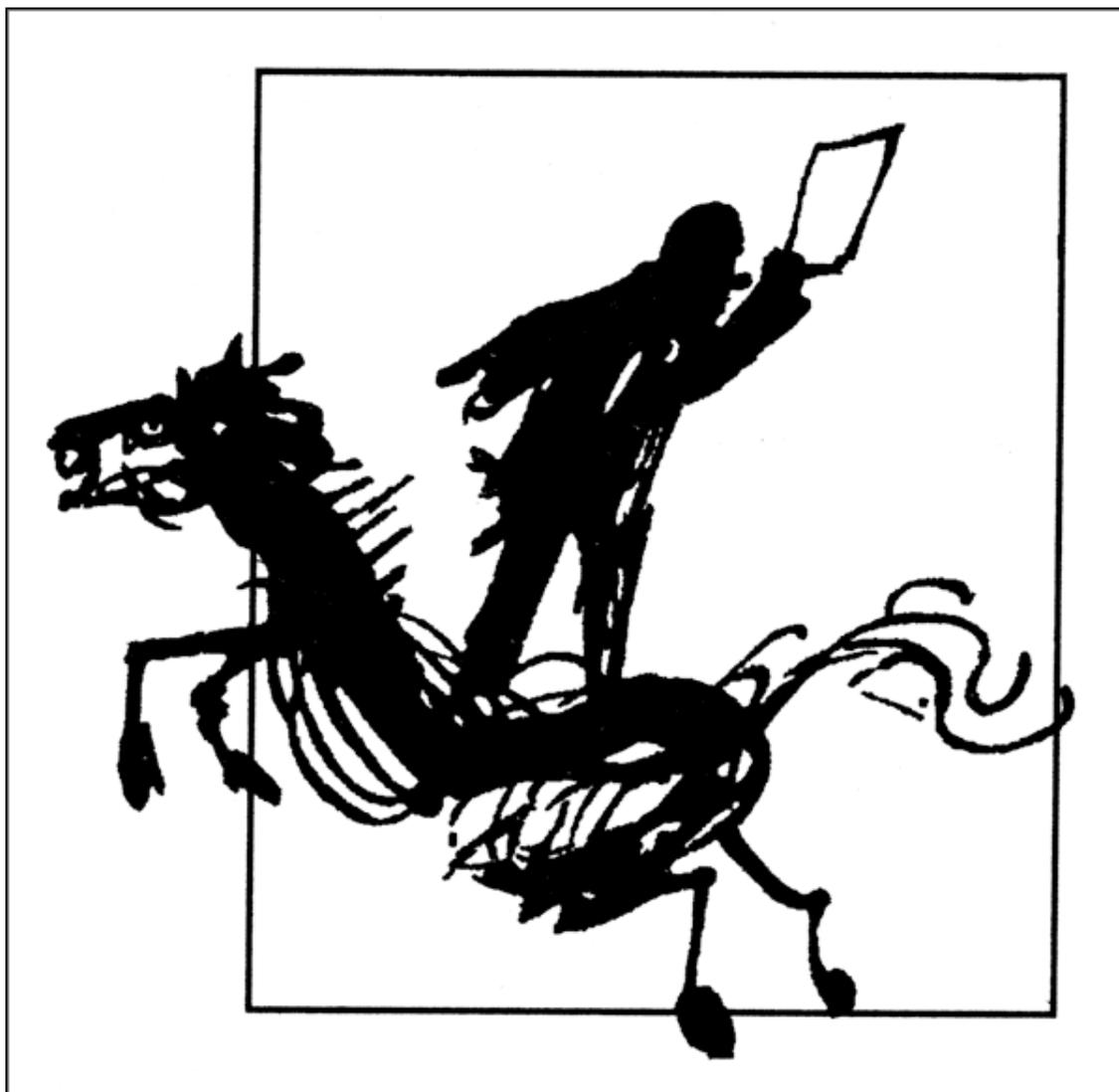
За реформы при сохранении стабильности и полную свободу при сохранении хозяйственных связей, за отход КПСС от власти при сохранении руководящей роли.

В результате всех этих взглядов его стало страшно оставлять одного, ибо, войдя в кабинет, он себя там не застанет, а выйдя, останется там.

С особым удовольствием население любуется им, когда он говорит:

– Я убежден! Это наш единственный путь.

– Конечно, – говорим мы, – единственный наш.



Актер

Не знаю, как растет публика. Но я видел, как опускаются актеры.

Печать частых встреч. Бесчисленные перемены характера. Легкое сумасшествие на базе крупной популярности рождает интересные вопросы к окружающим:

– У вас и вокзал есть? И поезда есть? И сесть в них можно? Прямо на этом вокзале? Как интересно. Поздравляю. Прекрасный город. Только почему вы его не убираете?.. Вам бы оборудовать следующий берег. Ну вот этот – напротив. Построить там отели, рестораны. Это хорошая идея. Я вам ее дарю.

А вот я вижу вдаль горы. Вы их как-нибудь используете в промышленности?.. Нехорошо... Реку вы используете для обмыва, а горы нет. Надо, надо. Поставить там какой-нибудь завод, будет очень красиво. Одинокий такой дымок светло-коричневый на зеленом фоне склона – очень симпатично.

Собравшиеся зеваки ответственно кивают, как будто от них что-нибудь зависит. Ну, а он... Взгляд рассеянный. Слух ненаправленный. Отвечает через вопрос. После третьего может ответить на первый. Дает себя усаживать в машину, везти куда-то, но быстро реагирует на слова «обед» и «касса».

Чувства исчезли вместе с шепотом. Громкий голос и хорошо закрепленный текст.

На свою шутку немедленно реагирует, тонко сочувствуя тупости окружающих. Довольно крупные куски заученного текста для нескольких жизненных коллизий... При получении гонорара шутка такая: «Так и расходы большие!» При произведении сексуальных действий: «А ты где живешь?.. И как ты отсюда поедешь? К сожалению, проводить не смогу... Но мне действительно... Мне очень... Я уже давно такого... Моя... (памяти никакой, поэтому) птичка. Я тебе дам мой московский телефон... Хочешь в Москву?.. Обязательно!.. Обязательно!.. А вот это непременно!.. Можешь мне поверить... Обязательно... Как раз я не забываю. Я потом запишу все, что ты сказала... Да я и так не забуду... Но я запишу... Моя... счастье. Обязательно. Здесь есть такой магазин? Обязательно...»

Разговор с женой: «Ты же видишь, я устал...»

С мамой: «Перестань, я устал...»

С соседями: «Если б вы знали, как я устал...»

С друзьями: «Что ты знаешь... Это же на износ!»

Раньше на дне рождения: «Эта страна своим крепостным царизмом опозорила рождение и обесценила смерть».

Позже: «Эта страна своим шараханьем опозорила рождение и обесценила...»

Еще позже: «Эта страна своей тупостью...» и так далее.

Не злой, особенно после успеха.

Любит свое изображение – афиши, снимки. С таким-то. С таким-то. С таким-то. И с таким же. Вот он держит за пуговицу министра культуры. Вот хохочет с виолончелистом.

Замер на концерте Спивакова. Но так, чтобы был виден Спиваков.

Вот среди генералов. Среди студентов.

Всюду с рюмкой в руке. Устал!.. Улыбка усталая... Возможно, даже естественная. Зубы – нет. Мысли тоже не его. Устал. Да... Устал. Возле чемодана стоит. Возле магазина стоит. Возле грязной посуды лежит. Ему неудобно. Его все знают.

На вопрос: «Что вам нравится в людях?» – отвечает: «Доброта».

«Верите ли вы, что красота спасет мир?» Твердо отвечает: «Да!» – хотя не представляет как...

Об убеждениях узнает из собственных слов.

– Ваш любимый писатель?

– Бунин.

Раньше был Чехов. Теперь Бунина разрешили.

– А Булгаков?

– Ну, Булгаков тоже... Но там есть тонкость...

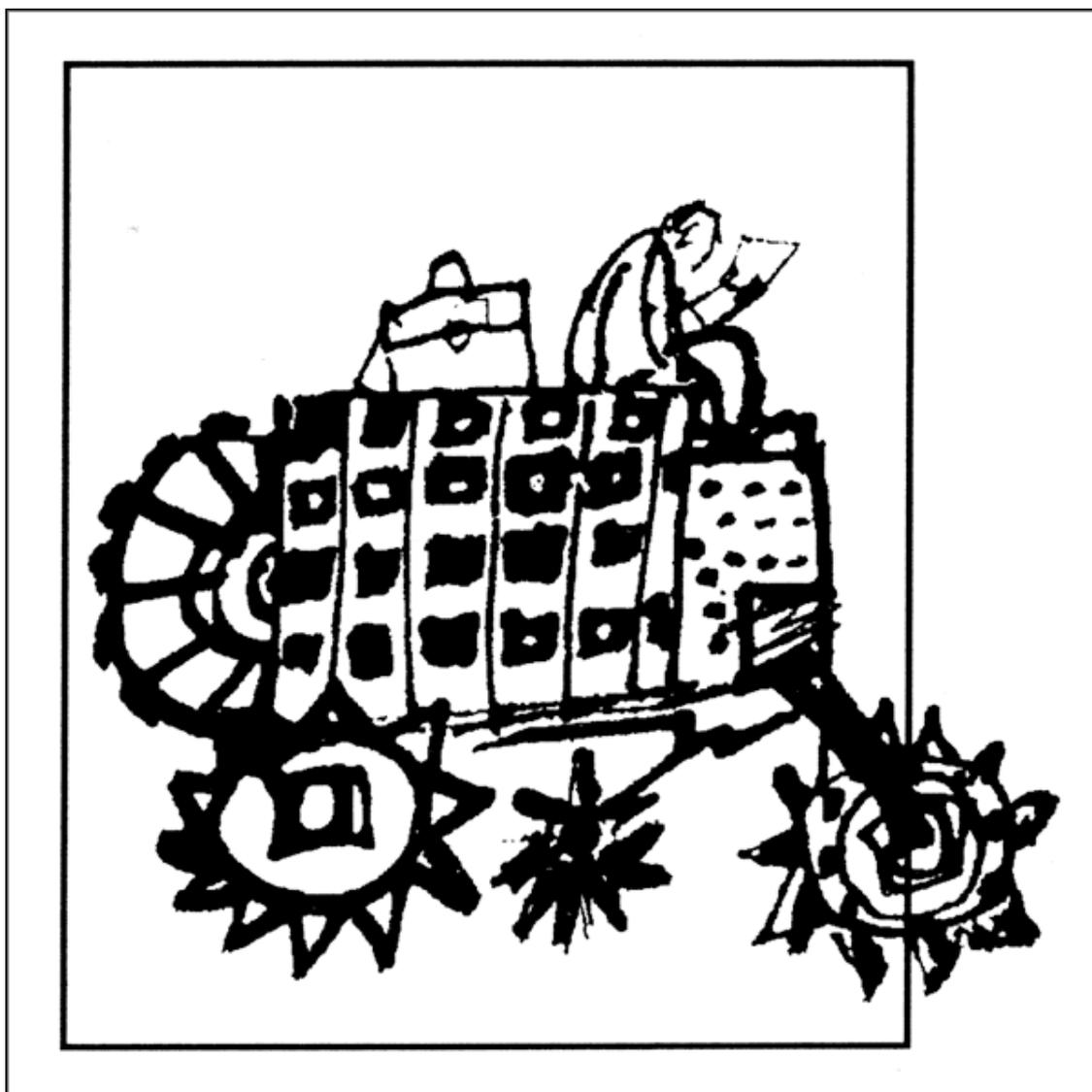
Какая – не говорит.

Показалось, что и на митингах может иметь успех. После двух шуток поверил, что поведет массы. Стал говорить: «Вы должны», «А теперь вы должны». И в конце: «Это вам необходимо». Митинговый зал специфический. Туда приходят не любить, а ненавидеть. Добился свиста. Посоветовали убираться в Израиль. Не по национальности. Видимо, название импонировало. «Убирайся в Сирию» – не звучит.

Вернулся на сцену. Былого успеха не было. Но и ненависти тоже. Многие его еще помнили. Надо бы сделать перерыв и начать снова. Чтоб вернуть власть...

Убедился, что среди молодых есть талантливые. Черт бы их побрал! Как же он их пропустил? Подросли, сволочи. А его стремительный выход на сцену и вскинутая голова ничего в зале не вызывали. А всего пять лет назад... Что творилось...

С удивлением обнаружил, что ничего не накопил... Стал присматриваться к жизни...



Если сравнивать

Если сравнивать, то сейчас люди живут проще. Сколько было волнений, когда кто-то сворачивал с дороги. Колокольчик все ближе. Волнение нарастает. Девушки в панике. И вот на пороге в снегу и в шубе. О боже! Еда вся рядом тут же. Хрюкает и квакает. В погребе остальное. Воз кавунов. Воз яблок. Спустывсь в підпілля. С хрустом – р-раз! Добрый кавун!

Сейчас гость тоже с колокольчиком, но это предварительный телефонный звонок. Не дозвонился – не выезжай. Проще стало. Очень приятные были раньше женщины. Одетые, одетые, одетые. И в перьях. Из перьев возбуждали молодость и смех, носочек ножки, по которой представляли остальное. Поэтому так были развиты поэзия и дуэли. Мужчины были неустойчивы.

Теперь проще. Теперь фигуру видно целиком. По фигуре надо вычислить характер. Мужчины притихли. Заинтересовались друг другом. Дуэли только по вопросам поставок.

Раньше люди отъездут на тридцать километров и полны впечатлений. Какой у Иван Сергеича сад. Какой парк у Песцовых. Нынче все к 1 августа на юг, к 1 сентября обратно. Впечатлений нет. Вместе были здесь, вместе были там.

Все на поводках. К каждой семье по два провода и по две трубы. Из центра поступают телефон, электричество и вода, в центр отводятся канализация и мусор. Если в проводах обрыв, семья сразу не слышит, не видит, не пьет, не ест, не моется. Соединят провода – семья видит, слышит, пьет, ест, танцует. Так что жизнь хорошая. Но на проводах.

Поэтому от центра люди далеко не отбегают. Чтоб получать поставками снабжение. Большинство уже не помнит, откуда поставки снабжения, боятся оторваться, испытывают неуверенность. Погребов нет. Хозяйства нет. К корове подход утерян. Коровы беременеют из центра.

Люди мотаются гораздо быстрее. Семьсот километров за час вместо недели. Но, приехав туда за час, также и видят там то же самое, только еще дождь, или даже вообще то же самое. Та же музыка и те же новости. А хочешь, возьми телефон и звони домой – и узнай ту же музыку и те же новости. От этого умственная вялость, широкий диапазон безразличия. Появились новые бессмысленные работы: сопоставление цифр, организация труда, выборочный опрос, реформы сверху.

То, что происходит днем – звонки, разговоры, крики, дергания, – называется работой. Это же самое ночью называется сном. Это же самое у моря называется отпуском. Укрепление себя физически носит уже самоцельный характер и выпячивает женственным.

Новостями называют то, чего не знают. То, что уже знают, – воспоминания. Один артист поет сразу на всю страну, под его пение все бегают, работают и разговаривают. Музыка переходит в пейзаж и мелькает.

Еда уже не хрюкает и не квакает, а смотрит искусственным глазом.

Кур готовят к поеданиям. Людей – к сражениям.

Поэтому куры и люди смотрят друг на друга с сочувствием.

Хищники постепенно становятся вегетарианцами, так как отравляются травоядными, в травоядных много пестицидов. Лоси, лисицы, тигры, орлы жмутся к людям, появляются в городах, перебегают дорогу, вьют гнезда в проводах, вид пришибленный, снотворное принимают с благодарностью, но скрыться им негде и спят тут же.

Когда особенно тяжело человеку, ему по трубам подают воздух и кровь, а отводят пот, слезы и слюну. Это называется реанимация.

Реанимация, быстрая езда, прием гостей не у себя называются цивилизацией, а трубы, провода и вероятность общего конца называются техническим прогрессом.

Хотя люди сейчас более озабоченные, чем раньше, и движутся быстрее – время не освободилось.

Уголки, где прошлое и настоящее соединяются, называются заповедниками или домами для престарелых. Поток туда нарастает. Люди хотят в прошлое. Не пускают провода, трубы и технический прогресс.

Таблетки от тревоги

- Ну, расскажите мне, что вас так тревожит?
- Наша жизнь. Разве вы сумеете мне помочь?
 - Попробуем. Что именно вас тревожит?
 - Они что, идиоты? Они что, не понимают?
 - Седуксен, тазепам, одна таблетка после еды три раза в день.
 - Поможет? Спасибо. Я с дипломом инженера стал полным идиотом, не понимаю, как они не понимают...
 - Элениум перед сном.
 - Ага. И я все пойму?
 - Нет. Будет лень разбираться.
 - Тогда простой вопрос. Где найти кран для сантехника?
 - В аптеке. По одной штучке.
 - И что?
 - И ничего.
 - А сантехник?
 - Я ему уже выписал.
 - Ага. Значит, теперь...
 - Вы не нужны друг другу. Тем более что нет этих кранов.
 - А где краны?
 - Еще одну таблетку.
 - И я их найду?
 - Немножко поищите перед сном и забудетесь.
 - А утром?
 - А вы держите под рукой. Еще одну после еды и забудетесь.
 - Я бы хотел забыться до еды.
 - Толково.
 - Теперь главное. Где достать эти таблетки?
 - У меня есть две. Мы с вами примем и не будем об этом думать.

Одному

Если потихоньку осваивать богатства Сибири одному. Или еще тише осваивать космос самому. Отстаивать мир вдвоем с хорошим человеком с нормальной фигурой.

Бороться с сепаратизмом в одиночку, скрываясь и появляясь внезапно в самых неожиданных местах, сводя его с ума переменной позиции и злобными выкриками.

Хорошо также добиться справедливости где-то в одном месте, хоть на квадратном миллиметре, и оттуда взывать к рассудку правительства.

И, конечно, если не жалко своего времени, можно попытаться одному устранить недоумения между народами. Если, конечно, хватит денег на перелеты... А бороться за охрану окружающей среды? В сторонке, никому не мешая, но активно и громко стуча...

Можно очень смешно выступить без публики, оттачивая мастерство из окна и аплодируя самому себе.

Выступить по утрам против обнищания масс, но телефон отключить, чтоб не мешали. Заниматься классовой борьбой хотя бы двадцать минут в день, для здоровья и бодрости.

А в конце месяца открыть душу. И разговаривать с собой до тех пор, пока не получишь свои исчерпывающие ответы на свои глубокие вопросы и ляжешь спать глубоко удовлетворенный.

Была еда

Зима 91-го

Почему у нас всегда воспоминания лучше жизни? И вроде вспоминать нечего. Кильки какие-то в томате. Что еще помнится из деликатесов? Не знаю, как вы, а я еще вспоминаю сгущенку, колбасу вареную и голубцы болгарские. Водочку помню, пропади она пропадом. Селедка была, хлеб с маслом и сладкий чай. Этих помню хорошо... пирожных, и этих помню... котлет, причем очень разных: половина была из них мясные, половина – совсем рыбные.

Хорошо помню этих... сосисок. Это такие тоненькие, когда их берешь – болтаются, интересные такие, с мясом. Это помню... Да нет, я многих помню. Ветчина была такая. Это как бы мясо, но уже вареное. Можно его было так есть с хлебом. Многие как делали: отрезали ломоть белого или черного хлеба, мазали сливочное масло ножом... И этим же ножом можно было отрезать ветчины и положить сверху, ну прямо на масло. А к чаю был сахар. Это было регулярно. В большую чашку многие наливали, и вот эту ветчину с хлебом и маслом запивали сладким чаем и так ужинали.

А еще было принято, если после работы там курица вареная с пюре или горошком. Многие ели жареную картошку. Некоторые в те годы употребляли гречневую кашу с маслом специальным сливочным или молоком. Некоторые ели рисовую кашу. Она тоже в те годы шла с молоком.

Некоторые ели рыбу... Ну, я ее не берусь описывать. Они тогда плавали в воде. Я их прекрасно помню. Вот я еще не старый, а прекрасно помню. Названий многих не помню. Ну там, мелкие, и такой был весь в гребешках... осетр.

А некоторые тогда брали с собой на работу кефир. Он тоже вроде молока, но скисший, хотя вполне съедобный, он был погуще молока, но тоже белый. Кефир брали на работу. Колбасу, помидоры и опять-таки хлеб. Все это продавалось прямо возле работы или на работе в буфете – рыба жареная, котлеты, колбаса. Ну, некоторые по вечерам ели куски жареного мяса, их можно было заказать и с кровью, и без, и в таких сухариках. И водочку если брали, очень холодную и вкусную, то ее заедали вот этим куском... Назывался он – «по-суворовски», значит, с кровью, и огурчик соленый, или помидорчик, или просто капусточка квашеная, она и сейчас кое-где есть. Еще вина были и пиво. Пиво – это такая жидкость, это вообще не описать. Она сама коричневая, но вкус не описать, вроде как-то терпко и гуще, чем сама вода, но жиже, чем, допустим, кефир, горьковатая, что ли, даже уже с трудом вспоминается. А к ней или к нему, уже не помню, шла соленая вот эта рыбка. Старики мне рассказывали, совсем маленькая, называлась снеток, а позже появилась вобла и пропала. Позже раки шли. Ну, этих описать времени много нужно. Они вроде насекомых, но больше. Я потом расскажу, не сейчас. Сейчас мы просто вспоминаем, без подробностей. Вам же, наверно, интересно. Я сам помню, с каким интересом слушал стариков.

Ну я еще застал сыр голландский, творог, это все делалось из молока. Я сам плохо помню. Как я вспоминаю, сыр был твердый, творог мягкий. Каши овсяные, перловые, пловы любили есть в Средней Азии – это была их национальная еда. Говорят, там еще их варят, эти пловы, хотя тайно, чтоб не отобрали.

Индейки помню разных национальностей. Телевизоры, холодильники, приемники вообще товаром не считались: хочешь – бери, не хочешь – не бери. Правда, правда, чего улыбаешься. Тогда было принято ругать их качество, мы же еще не подозревали, что они вообще...

У матери спроси, она вспомнит. Кстати, в городах войск не было. Люди были разных национальностей. Клянусь. В толпе попадались армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, узбеки, месхетинцы. Мы их тогда не различали. Они, наверное, знали, как друг друга отличить, но мы не могли, и они так и ходили вместе. Клянусь. Да чего там армяне. Евреев можно было запросто встретить. А хочешь поговорить – пожалуйста. Страна вообще была большая, и все жили, и претензий особых не было. Только вот эти раздражали. Канарейки с репродукторами. Едут эти авто и чего-то говорят. Что говорят – не разобрать. Но все знали – стать к стене лицом, и после этого черные шли и их флажками приветствовали. Они пройдут, и опять все гуляют. В магазины заглядывают, в рестораны. В ресторане можно было поужинать за десять рублей. Клянусь! Можешь маму спросить. А вообще жить нельзя было, хотя все жили. А сейчас жить, конечно, можно, но осуществить это гораздо труднее.



Мода сезона

Мода сезона: цвет хаки, никакой синтетики, коттон, кожа натуральная, небольшие погончики, накладные карманы, брюки типа бридж, галифе, металлические пуговицы здесь, здесь и здесь, короткие полусапожки, сумочка в виде вещмешочка, в качестве украшений на поясе резиновые палки, наручники, револьвер, ожерелье из патронов, со свисающей по центру дымовой шашкой и газовым баллоном.

При встрече на улице с другим человеком, независимо от его национальности, сейчас очень модно бежать, прятаться, окапываться, стрелять под ноги, скатываться в обрыв, хоронить без гроба, увлекая за собой любопытных.

Выставка «Мода-95» открыта в подвалах МВД. Вход со стороны Петровки, 38, о выходе будет объявлено особо.

Люди социализма

Оттопыренный зад, согнутый позвоночник. Руки до земли. К рукам приросли две кошелки. Загорелые кисти, шея и одно колено от дыры в штанах. Грудь в форме майки. Плоскостопные стопы с огромными мозолями. На мозолях и осуществляется передвижение.

На лице написано:

– Это не я!

– Как не ты? – на лице встречного.

– Не я, и все!

– От, мать... А кто?

– Вот он.

– Это ты?

– Не я.

– Он говорит, не он.

– Врет. Он это, все он.

Уши торчат из-за спины, шепот:

– Эй!

– Чего?

– Дверные замки нужны?

Губы вытянуты. Глаза по кругу. Из кустов:

– Эй!

– Чего?

– Плинтуса есть?

Все население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает.

Есть герои в форме винтовки, с собакой в виде пистолета. Бойцы в виде газбаллона.

Продавцы пива в виде бочки. И следователь в виде палки.

Лица следующих типов.

Первый. Руководящее.

Гладкое, круглое, смазанное куриным жиром, с пристальным взглядом: «Это кто сделал?»

Второй. Руководимое.

Цвета свежего салата, чернозубое, белоглазое, вращающееся в разные стороны: «Это не я!» Мгновенно бросает работу, даже если в ней заинтересован. Толпу видеть не может. Не может видеть бегущих. Тут же включается. От этого его часто бьют, и он голосует себе во вред.

Третий. Лицо передаточное типа ряха¹.

Цвета свеклы в разрезе, не вмещающееся ни в какую шинель, разящее перегаром состава: лук, чеснок, шампанское, пиво, самогон, перекись водорода, семечки, вобла, ацетон. Глаза щелевидные, красные, типа «зенки», тоже с запахом. Руки красные, ноги красные, трусы черные периода первых физкультурных парадов. Жену и детей бьет. Верх лижет, низ топчет. Живет в прихожей и погребе, парадной комнатой не пользуется – ждет генерала или мэра. Гласных не употребляет, только согласные: здрст, пшл вн, рздись. Не голосует никогда.

Тип четвертый.

Гуманитарий, переделанный из инженера. Находится на уровне низа чуть справа, если смотреть сверху. Ценит мысль и выпивку. Чередует: пришла мысль – значит, надо выпить, не

¹ Ряха – рожа, морда, нечеловеческое лицо огромного размера, 500 x 500 мм, лежащее на плечах. На оклик поворачивается вместе с телом.

пришла мысль – надо выпить, чтоб скрасить ожидание. В отличие от первых трех обращает внимание на женщин, которых чередует с выпивкой и мыслью. Не пришла мысль, но пришла женщина – выпьем. Пришла мысль, но не пришла женщина – выпьем. Не пришли ни мысль, ни женщина – тут вообще... А они вместе не приходят. Отсюда пьянство с незнакомыми людьми.

Лицо носит широко распространенное. Фигура шарообразная. Руки, ноги, желудок, печень – все есть, но ничего не работает. Дружит с врачами, у которых то же самое. Спасается юмором. Не уверен ни в чем. В одежде ужасен, без одежды страшен. Имуущества нет. Не может объяснить, где живет. Какие-то углы у каких-то женщин. Гордится нищетой. Заранее злорадствует над своими грабителями. Они могут вынести только помои. В общем живет неплохо, пока не пришла мысль об отъезде. Тут же становится невменяемым. Однако все. Назад дороги нет. Эта мысль обратного хода не имеет. Ее приход сразу делает людей разными! Голосует очень активно, хотя и себе во вред. Порывается руководить. В ответственный момент скрывается, напивается, прячется у женщин.

Соцстроевские девушки еще отличаются от мужчин. Молодые женщины меньше. Пожилые никак. Имеют одинаковую с мужчиной скорость, выносливость и знаменитую стантовую силу, позволяющую перемещать до шестидесяти трех килограммов полезного груза на расстояние двадцать – двадцать пять километров со средней скоростью пять – восемь километров в час. Незаменимы на демонстрациях для удержания огромных лозунгов при сильном ветре. Содержание плаката их не интересует. А в остальном – голубоглазые и терпеливые. Что и делает их главным предметом экспорта. Они пользуются особым спросом в развивающихся и находят себе применение в промышленно развитых странах. Удивительно, как государство не догадалось взимать налог за их экспорт, ибо все, что мы делаем руками, продать невозможно.

Все человеческие типы соцстроа не выносят, если что-то плохо лежит. Мужчина, увидев, что кто-то плохо лежит, ложится рядом, женщина – смахивает в сумку. Отсюда выражение лиц: «Это не я!»

Огромное количество соцстроевских сидит. Они не сидят в буквальном смысле. Как раз сидеть там нельзя. Они ходят строем, сколачивают ящики внутри заборов с вышками и собаками. Сидящие играют главную роль в обществе. От них поступают: народная музыка, разговорный язык, живопись, а также свод законов поведения «Все по справедливости!». Отсюда и общество, как они: самое несвободное, но самое справедливое в мире. Только его надо догнать, набить рожу и эту справедливость внедрить в ихние, мать... ж... желудки...

Для этого существуют специальные крепыши по прозвищу «кульки». Чтобы убедиться, достаточно надуть полиэтиленовый пакет и зажать в кулаке. Это будет кулек. Он свиреп. Содержится за воротами, на которых написано: «Вход воспрещен». То ли он свиреп, потому что вход воспрещен, то ли вход воспрещен, потому что он свиреп, – мы не знаем. Свиреп, и все. Когда открываются ворота, все бросаются врассыпную. Население, битое кульками по голове, их уважает. Видимо потому, что битое кульками по голове.

Люди соцстроа пока еще политически убоги. Они ненавидят и коммунистов, и капиталистов, и новых дельцов, и борющихся с ними милиционеров. На этом утробном фоне и появился тип пятый.

Патриот.

Глаза язвенника. Кого-то ищет. Черный мундир, перепоясанный ремнями для сдерживания взвинченных нервов. Руки чешутся. Настолько жаждет драки, что готов быть побитым. «Наше время придет!» И действительно, их время приходит, их бьют, и их время уходит.

Он говорит о любви к родине, но ненавидит всех. На лице усмешка, которая бывает при очень большой лжи. Сбить с этой лжи его невозможно, потому что он не даст. Он-то знает, что врет. Это вы не знаете. Чаще всего он тянет обратно в социализм, где водка три шесть-

десять две, где все знакомо, как в родной помойной яме. Где висят для поцелуя похожие, как близнецы, ряха начальника милиции и задница первого секретаря обкома партии. Где центр торговли – туалет, центр культуры – лифт, а центр любви – радиатор. И смерть приносит облегчение всем, включая покойника. Многие туда не хотят. Многие уже там были. От этого митинги, собрания, демонстрации, где среди ораторов неожиданно благодаря демократии возник совершенно новый для нас тип шестой.

Оратор.

Если бы не мелкие признания между цифрами, вообще бы никто не догадался. Первыми, что что-то не так, смекают на трибуне. Оратор приводит ужасающие цифры осужденных, под гром аплодисментов проклинает правительство, под бурные овации обвиняет во взятках весь президентский совет, под рев огромной площади называет строй фашистским и переходит к стихам. Первыми что-то чувствуют поэты, регулярно присутствующие на трибуне. От них начинают беспокоиться устроители. Толпа ликует. Однако поэма не кончается. Рифмы «ютиться – юрисдикция» и «веники сторожевые» заставляют толпу затихнуть. Передние ряды пытаются поймать его глаза. Но в этой бороде ни черта не видно. А когда он в поэме объявляет, что аэрозоль, созданный им, поможет окончательно разогнать коммунистическую партию, сквозь ликование толпы проступают признаки здравого смысла. Орудие массового поражения, созданное им глубоко под землей, и червь, который однажды вышел у него через нос и ушел в раковину, приводит толпу в некоторую растерянность. Но выступающий снова зачитывает цифры осужденных и суммы взяток и под гром аплодисментов в неясном сопровождении покидает митинг.

Специалист, конечно, разгадывает быстро, а у толпы уходит минут. сорок, умноженные на сто тысяч человеко-минут. Если не разгадают, появится диктатор и уничтожит специалистов. Вся штука в быстроте угадывания. С ростом гласности это труднее.

А мы тем не менее будем счастливы. Две вещи мы поняли: словам не верить – раз, надеяться на себя – два. Наружных врагов у нас нет. Мы им не нужны. Завоевывать нас себе дороже. А вдруг мы победим?! Так что с наружными врагами мы расправились собственным примером. А внутренним счастья не будет. Они живут в нашем окружении. Мы знаем друг друга наизусть и видим насквозь. Так что жизнь продолжается.

Как обычно

Идешь, как обычно, куда-то, лицо, как обычно, смотрит вперед, затылок ничего не подозревает. Вдруг сзади:

– Продолжать движение!

– Продолжаю.

– Так и идите.

– Я так и иду.

– Взять правей.

– Возьму... Беру правей.

– Не разговаривать!

– Молчу.

– Стоять. Не оглядываться.

Стою. Не оглядываюсь. Пропускаю слева. Что там сзади?

– Не оглядываться!

– Не оглядываюсь.

– Все. Свободны!

– Ура!.. Свободен!

Любимое правительство

Та что вы говорите, никто, наверное, так не любит наше правительство, как я. Это что-то патологическое. Что-то безумное, наверное. Наверное, это неразделенная любовь. Да, конечно, если бы взаимно, я бы почувствовал. Но это неважно.

Я влюбился, как мальчишка, как пацан. Разве прикажешь. Любовь! Хоть козла. Хоть сволочь. Люблю – не могу. Каждый день должен их видеть. Умираю, если не вижу хоть день, хоть пять минут, хоть кого-нибудь. Неважно, о чем они говорят и как выглядят! Мне говорят: «Посмотри, в кого ты влюбился, они же в экран не влезают, а мысли, а дикция...» А я не могу. Умираю – люблю каждого! Ну это же надо. Раньше я артистов собирал, космонавтов, то тоже была любовь, но такая, одноразовая! А эти появились, я тех сразу повыбрасывал. Только их обожаю. Это ж надо – такие ребятки! Фото все у меня. Сундучок завел. Крышку открываешь – говорит. Голосом самого. Я прям таю весь. И так сразу серьезно: «Обстановка стабилизируется, осталось определиться, мы вышли на большие размышления, на прямые телефонные переговоры, к 2000 году должно остановиться ухудшение. Падение ухудшения и нарастание улучшения будут происходить одновременно...» Ой!.. Ой!.. Лапочка. Это ж такая радость... Даже неважно, что он говорит, я балдею просто от тембра, от говорка. Как ветерок с духами. Ой, как повеет – все поры навстречу откроешь и впитываешь.

А другой тверденько так, крепенько: «Стабилизация прошла, центр ничего не отдаст. На местах пусть борются сами. Жесткая позиция центра плюс борьба за жизнь на местах стабилизируют связи. Мы не пойдем на повышение цен на бензин. Малообеспеченные слои останутся с бензином и керосином. Слой с бензином, слой с керосином. Запад пытался загнать нас в угол. Но мы в любом углу сохраняем бдительность».

Тверденько так, умненько.

«Западные банки хотели загнать наш банк в угол. Но наш банк раскусил все их маневры и умчался. Медь менять не будем. Чрезвычайное положение для уборки урожая пока применять не будем. Попробуем подождать, может, кто-то и уберет. Сторублевки поменяли, будем менять фотографии на паспортах и фамилии, это даст выигрыш двадцать три миллиарда. Что позволит нам омолодить население вдвое. За выдачу паспорта в шестнадцать лет надо будет внести десять тысяч рублей, что позволит нам при том же бюджете уменьшить население втрое. Пенсионные книжки будут выдаваться пенсионерам только при внесении двадцати тысяч рублей, что уменьшит население еще на двадцать миллионов. За больничный лист придется платить полторы тысячи, что даст выигрыш еще на миллионов тридцать человек. После всех вычетов нам остаются примерно миллионов сто двадцать чистыми, то есть здоровыми, трудоспособными, значит. Квартиры есть, продовольствие есть. А к рынку перейдем, когда нам будет надо! Когда захотим».

Нет, ребятки, я не могу. Умираю, люблю их всех. Первый говорит – сладость в душе возникает и по всему телу разливается: «Мы вышли на серьезные размышления. В стране настал момент, когда только слепой не видит, только глухой не слышит». Как песня. «Только слепой не видит, только глухой не слышит, как мы вышли и подошли к вопросу...» И сладко становится, во всем теле, и томно, и нежно в организме, что-то покалывает в затылке, и самый страшный бандит расслабляется, и из него вытекает вся дурь, все болезни... «Мы подошли к важным решениям». Неврастеники затихают, шизофреники молчат, самые стервозные бабы замирают, и только слеза в корыто – бух.

А тот, второй, пожестче: «Центр не отдаст. На местах могут повеситься – но мы все связи восстановим. Руду добудем, нефть продадим, дизеля запустим. Управление беру на себя. Непопулярные решения – раз! Непопулярные решения – два! Непопулярные решения – три!.. Так, посмотрим, что получилось... Эх! Население ни к черту! Землю брать не хотят,

заводы брать не хотят, только продукты и косметику. Так. Еще раз беру на себя. Непопулярные решения – раз, непопулярные решения – два, непопулярные решения – три... Стоп-стоп-стоп!.. Спокойно, спокойно... Даю передышку...» Обожаю!

И этот средний между ними. Красавец. Молодой. Сильный. Изумительный. Теперь в тюрьме оказался. Что-то не то сказал. Теперь молчит. Но молчит потрясающе. Высокий, стройный. Ему бы... Эх, вдвоем бы с ним! Нет, втроем... На закате, на поляночке. Когда взрослых нет. Под огурчик и миндальный ликер... Весь дом моделей на деревья бы позагоняли. И девочек, и мальчиков. Ой, обожаю! Планы у меня на них... Не могу их встретить. Дежурю на всех углах, где они проезжают. Хоть на пять минут. Тут однажды мелькнул такой хохолок-профилек. У меня сердце оборвалось – он, любимый. Пусть он будет в машине, пусть в чем хочет – только бы встретиться! Я умираю. Я готов встретиться с любым из них. Но он пусть будет первым. Птица моя. Радость. Орел любимый. Перехватчик. Убийца ласковый. Я твоя добыча. Я!



Колебания

Морально здесь нехорошо. Там нехорошо.
Материально здесь хорошо. Там еще лучше.
С женщинами здесь лучше. Там хуже.
С машинами здесь хуже. Там лучше.
С языком здесь лучше. Там хуже.
С квартирой там лучше. Здесь хуже.
С кино здесь хуже. Там лучше.
С балетом здесь лучше. Там хуже.
С болезнями здесь хуже. Там лучше.
С деньгами здесь – ничего. Там – ничего.
С одеждой здесь хуже. Там лучше.
С мясом там лучше. Здесь хуже.
С лекарствами там лучше. Здесь хуже.
С фруктами здесь хуже. Там лучше.
С углем здесь лучше. Там хуже.
С нефтью там хуже. С погодой здесь лучше.
Морально здесь хуже. Там хуже.

Позвольте, я останусь на месте, если можно назвать неподвижным предмет, находящийся в непрерывных колебаниях.

Формула счастья

Это чушь! Все внутри нас. Переезд не поможет. Не перевози несчастья. Не помещай свое безделье, бездарность, бескультурье в другое место, не порть его. Умей наслаждаться всем, что по пути. Не можешь двигаться вперед – наслаждайся поворотом, получи удовольствие от движения назад. И топтание на месте тренирует организм.

Ищи новое в знакомом. Копайся в изученном. Преврати дело в хобби, а хобби – в дело. Изучай потолок. Наслаждайся подробностями. Везут в тюрьму – получай удовольствие от поездки. Привезли – изучай опыт соседа.

Примем и запишем:

Склочник – норма. Деликатный – исключение.

Отсутствие чего-то – норма. Присутствие – исключение.

Нет – норма. Да – исключение.

Дождь – норма. Солнечный день – исключение. Отсутствие денег – норма. Присутствие – исключение.

Теснота – норма. Пустой автобус – исключение. Обязательность и точность – исключение. Хамство, вранье – нормальный разговор.

Тоска, подавленность, недовольство – нормальны, как фигура и национальность.

Богатство – не наша черта характера.

Здоровье – исключение. Болезнь – норма.

Попадание в больницу – правило. Выход из нее – исключение.

Тайн в личной и служебной жизни не бывает. Каждый шаг известен всем всегда, и все интимные слова произносятся на публику.

Эти знания делают человека счастливым и дарят каждый день, как исключение.

Выше на Север

В последнее, в самое последнее время стал почему-то много ездить, вернее летать, а может быть, путешествовать. Перед Новым годом полетел на Север. Тянет на Север всегда. Уж больно тянет. В Киеве мы ходили самолет выпрашивать. Дали. Все-таки великая страна. Книжку не выпросишь, а самолет дадут.

Ну, там обе стороны обставили это призывами и лозунгами: «В честь, во славу». Как просить чего, так нужен лозунг. Но стоит, стоит! День солнечный, мороз – двадцать градусов. Самолетик стоит сказочный, двигатели на крыше, как два глаза у лягушки. Я так перед ним и снялся, и принял его очертания, и снялся впереди него по своей отвратительной привычке бежать впереди паровоза и лететь впереди самолета.

Никаких расписаний. Летишь когда хочешь. Вылет откладывается! Экипаж нехай ждет приказаний. Мы всю береговую команду возили с собой. Два пилота впереди. Штурман с лампочкой сзади, радист сзади, механик посередь. Из КБ двое нормальных орлов, Орлов – это фамилия одного, второго не помню. В салоне мешки, парашюты, туалета нет – ведро за занавеской. Но все можно преодолеть, если вокруг все понимают. На мешках, на боковых скамьях – до Ленинграда. В Ленинграде взяли зимовщиков и на остров Средний – шесть часов. Кстати, шесть часов на мешках в шесть раз легче, чем на сиденьях Аэрофлота.

В общем, догнали ночь. Сели. За бортом минус сорок. На борту плюс двадцать пять. Печка работает прекрасно. Печка у него своя, все у него свое, у сказочного самолетика Ан-72. В самолете для артистов нас оказалось, прямо скажем, четверо, то есть две певицы, певец и писатель, называющий себя сатириком для безопасности. Ну, мол, сатирик, что с него взять?

Остров Средний. Надо выходить. Разница в шестьдесят пять градусов Цельсия. А зимовщики подвезли в Ленинграде для артистов такие куртки – черный брезент, подбитый мехом, унты – нырнешь в них, как в два очка. Шапки у нас свои.

Аэродромы на Севере искать легко. По огоньку. Избаловала нас огнями городская жизнь. На Севере темно. Светло вверху – на небе, темно внизу, хотя бело. Сверху звезды, внизу пусто. Только штурман под лампочкой считает, считает линейкой, машинкой, чертит, бедненький, трудится, выводит. Не пойму, как двигатели реактивные заводить. У Орлова узнал. Как взлетать и садиться присмотрелся. А как на точку выводить через шесть часов, через три тысячи пятьсот километров – не понял и не спрашивал, чтоб не вдряться часа на четыре. Но когда внизу огоньки параллельно курсу уходят вдаль, значит, все в порядке.

В наушниках все крепче голос. Остров. Прилетели – надо выходить. Когда по узкому трапику мешком падаешь в снег – паника. Все в пару. Мы окружены танками. Фары, пар, гул моторов. Танки!

Все правда. Во-первых, ночь. Отныне неделю будет ночь, просыпаться, обедать, ужинать – по договоренности. Электрический свет горит всегда. Значит, минус сорок, ночь сквозь пар, фары, танки, медведи, люди, пограничники. Мы уже на границе. Медведи оказались собаками, молчаливыми и крайне мохнатыми. Люди – пограничниками, танки – вездеходами.

Между прочим, чем мороз сильнее, тем люди лучше. Поэтому и возможна жизнь. Боже мой, думаю я, где я встречал таких доброжелательных, деликатных людей, где-то я их уже видел.

Между прочим, в унты, шубы, шапки, шарфы одеты только мы. Пограничники в сапогах, куртках, ушанки вверх, ворот расстегнут, лапы дубовые. Дубовые, и все. Что дать ему руку, что дизель пожать... Псы крайне доброжелательные, хотя к ним претензии. У них кое-какие соглашения с медведями, то есть они на медведя не лают, и он их не трогает. Приспособились.

Американцы не видны, главный враг – медведь. А псы с ним в договоре. В принципе, конечно, иждивенцы. Чувствуют вину, не лают совершенно, хвостами не виляют. Отодвинется – даст место. Люди также деликатны.

Черт его знает, спишь там до одурения, где чего, кто куда – не понимаешь. Окна от холода забиты одеялами под деревянные планки. Как свет погасил – все. Проснулся. А-а! Где? Кто? Снится? Не снится? В пещере? В самолете? В Москве? В Одессе? Ни черта. Ни зги. На нечеловеческий крик кто-то включил свет.

– Тьфу! Мы ж на Севере.

Туалет-то теплый, но в районе талии, внизу все сорок завывают. А тебе защититься нечем. Нечем, и все. Не дай бог, что-то с организмом и ты задерживаешься. Выходишь оттуда бледный, руки дрожат. Там же не выкопашь. Поэтому чем старше город, тем выше туалет, в самом старом обозреваешь местность с высоты птичьего полета – к чему мы и стремимся. Просто хотелось взойти на что-то поприличнее.

Где же я видел таких доброжелательных, улыбчивых людей?

Неподалеку очень приятно звучит дизелек, вертя динамо. Вокруг летчики. Это называется гостиница для летчиков. Кстати, в люксе – нормальный смывной туалет. Вот и пойдешь разберись, чье общество менее разделено. Советчики и антисоветчики.

Наша продолжительность жизни двадцатым пунктом. 63–64. Мало живем. Меньше всех других. Безразлично тянем. Выпьем, вскипим, чего-то нафантазируем. «Я е... ть, могу е... ть... Мне должны, я построю е... ть» – и тишина. Не положено по рангу ни одежды, ни жратвы, ни денег, ни лекарств. Только и праздник – выпить. Сами на себя наплевали, сами себя приучили так жить, так надо – обстоятельства, трудности. Ну, а раз согласны так жить, на кого ж кричать, с кем воевать? Антисоветчики за жратву борются, за теплый унитаз, за зарплату человеческую. Может, действительно антисоветчики?

Наловчился перебежать в столовую без шапки и пальто. Собаки отскакивают. Между прочим, спокойный морозец. То есть народ не простуживается. Замерзнуть можно навсегда, но не простудиться. Микробов в воздухе нет. Нет скопления людей, и никакой гадости. Горло не болит, голова ясная, слева поет начальник аэропорта, вооруженный до зубов. У него вторые сутки гуляние. Пьют промывочную, обмывочную, прополаскивающую жидкость, в военных самолетах много чего залито. «Есть два предложения: первое – выпить, второе – немедленно выпить. Прошу голосовать».

А мы ждем. Летчики тренируют посадку на льдину, там надо уложиться в четыреста метров. Самолет может. Надо и им. Не будят, уходят тихо. Сколько внимания, шуму «днем», и полная тишина, когда спишь. Я сплю уже сутки, а летчики хотят знакомиться, душу излить. Выходишь ночью в туалет, в коридоре полно огромных людей, все говорят: «Доброе утро, можно автограф?» – «Здоровья, счастья», – и вновь спать. Где же я видел таких людей?

Летчики вероломно слетали на СП-28 в технический рейс. Сели, взлетели, туда три часа, обратно, там потренировались, чтоб завтра нас привезти. Жалеют артистов. Не хотят упасть вместе с нами. А пока концерт на острове. Кстати, прекрасная публика. Все соображают, хохочут как бешеные. Соскучились, истосковались... Никто у них не был. Телевизор смотрят.

Потом мы мчались на метеостанцию по синему снегу на бронетранспортере АТС – артиллерийский транспортер средний. Мотает его, кидает. Тепло внутри и кисло. Водитель Толя на рычагах. Управление простое – отжал фрикцион, нажал тормоз. Две педали, два рычага – это в одну сторону. Обратно он уже ехал выпимши и всем предлагал свой рычаг: «А ну, Михаил, тяни». С воем чуть не опрокинулись.

– То-то. Думаешь, легко?

А всюду брошенные бочки. Весь Север – бочки. Наскочив на крепкую бочку, с диким креном взлетели, гусеница в воздухе, головой – об потолок.

– То-то, Михаил, а ты думал.

– А чего я думал? Я ничего не думал. Я тебя уважаю.

На метеостанции чисто. Дизельки работают, радиостанция чирикает. Тепло. Дом каменный. Главное лакомство – картошка жареная. Для них. Для нас – хлеб. Хлеб удивительный, довоенный, дореволюционный, досоветский. Главное – научить солдата печь хлеб. Полковник с ними терпелив бесконечно.

– Не торопись. Дай взойти, следи за жаром. Соли не переложи. Самое вкусное, как во время войны, – кусок хлеба с маслом и джемом, хлеб пружинистый, пропеченный, ноздреватый, хрустящий, белый, его ешь без конца. Еще хлеба, еще хлеба. Все потеряли под крики: «Хлеб – главное, берегите хлеб. Хлеб – всему голова». Обдемагодили все. Такому хлебу, который мы пытаемся жрать в городах, только и дорога в урну, скоту, свиньям, кому угодно.

На столе копченый муксун и строганина – мороженная рыба стружками загнутыми. Тряхнешь тарелку – стучит. Соус острый томатный. Берешь стружечку, макаешь в соус, а потом кладешь туда, куда обычно, – там она тает, ну, тут, конечно, смешно без водочки. Поэтому есть водка, спирт, и всегда будет. Извините.

Метеостанция полярная, и люди хорошие, и вопросы наивные:

– Михаил Михалыч, почему люди уезжают? Я понять не могу.

Как ему объяснишь? Сразу скучно, скучно:

– И ты же, Петя, откуда-то уехал вот сюда. Тебе здесь нравится, а там нет... Ну? А другому там нравится, а здесь нет. Для чего же поезда, Петя? Для чего бесконечно изобретают велосипед и совершенствуют самолет? Чтоб ехать, Петя. Не надо, Петя, держать людей. Хватит несчастных и без этого. Пусть мчится, пусть там пробует, пусть обратно возвращается. Кому нужна граница на замке? Где их запирают? В государстве? А может, в городах? А может, в домах? А может, в чуланах? Ехать – не ехать, жениться – не жениться, у каждого свои дела. Это в принципе... Почему едут? Скорее всего, потому, что нельзя, а еще потому, что там больше платят. Кстати, ты поехал так же.

Они говорят: мыс Челюскинцев – от слова челюсть и ЗФИ – Земля Франца Иосифа. Медведя боимся все. В туалет с берданкой. Карабин при нас. Одного медведя раздели – атлет. Человеческая фигура, мышцы огромные. Прыгает на шесть метров. Убивает человека ударом лапы – даже зрачки не успевают расшириться, снимает скальп и выедает живот. Больше ничего.

Итак, самое вкусное у нас – живот. Я теперь его берегу. Приятно носить такое лакомство. На голых медведь не нападает, видимо теряется, на пьяных вроде бы тоже – брезгует, поэтому попадают молодые солдаты. Застрелить медведя стоит тысячу рублей, а угробить полярника – пятьсот. Вот как-то так ставится вопрос. Ну, имеется в виду привезти на Большую землю и похоронить.

Летим на СП-28. Три часа. Я прирожденный летчик и провожу время в кабине. Ну, там темно, лампочки приборов – это вы все знаете. В окнах темно. Вот они закричали. Появился самолет. Второй. Пилоты раскачивают самолет. Оказывается, очень важно выпустить левую ногу. Самолет новый, летит с юга, там влага, здесь мороз, и нога не выходит. Болтает самолет. Потом посылают двух человек. Они ломачами, тросами, веревками полуавтоматически вытаскивают ногу до состояния замка. Появились огни СП. Мы включили прожектор, и все оказалось белое – снег!

Станция – это два-три огня, полоса – шесть-восемь параллельных огней. Мы сделали пару заходов и – на посадку. Встречают с факелами, ракетницами. Мороз не сильный – минус двадцать семь. Начальник молодой – Конязин. Все в бородах, унтах – интеллигенты. На санях от полосы – на тракторе – до кают-компания с километр. Кают-компания из двух комнат метров тридцать. Жара. Домики карболитовые, что очень вредно. Карболит испаряется

и отравляет живое. Работают, не жалуются. А что нас может отравить или оскорбить? Какой вред нам можно причинить после всего, что было.

В кают-компании шведский стол. То есть Европа! Два пацана-повара. Бифштексы, или лангеты, или шницеля, или отбивные (их всегда путаешь) вертикально стоят, жареная картошка на подносе, компот в графине. Посуду моем сами горячей водой и квачом на палке, затем прогулка по станции. Ну, там гидрологи, у них палатка и дыра во льду. В дыре лампа не дает черной воде замерзнуть, вокруг лампы полуобмороженные креветки, и видна нижняя кромка льда. От поверхности метров десять – такой толщины лед. Можно жить. Подо льдом, по-моему, народу больше. Но это военная тайна.

На льду сидит интеллигенция. Дрейфующая интеллигенция, бородатые, плоские, все понимающие – те, кто меня любит, и кого – я. Часть из них, что не уехала на Север или куда еще, ударились в кооперативы – обивает двери, высчитывает обмены. Часть сбежала туда, на лед, на полюс. Кстати, и эти уехали. Только уехали на полюс. Главное – оторваться от нашей жизни. Какое это счастье – оторваться от нашей жизни. Два пути у человека – ближе к власти или дальше. Кто-то выбирает дальше. На полюсе люди, которые смылись от указивок и проработок. Даже если на все просьбы будет ответ: «Дозволяю», – то рано или поздно повесишься. Так живет деревенский племянник у городского дяди.

- Можно я стул возьму?
- Бери, бери.
- А можно я во двор пойду?
- Иди, иди!

Бери-бери, иди-иди – тихое помешательство, переходящее в сумасшедший бунт. На стадии тихого помешательства люди разбегаются кто куда. Часть на Восток. Часть на Запад. До райкома далеко. Делай свое.

– О нас говорят, что мы в экстремальных условиях. Вот жена моя – да. Как она эту посылку собирала? Где продукты брала? А потому и морячок никак не решится сойти на берег. На всем готовом. Плавает и плавает, прикидываясь романтиком. Штормы, риск, крен, обледенение. Нормальная жизнь в море.

А вранье, а подозрительность, а унижение, унижение, унижение – кто ж сойдет, кто ж влезет в это опять и навсегда? Еще плавать, еще ходить. Там на СП еще есть ИЗС (слежение за спутниками) и вообще домиков пять-шесть. У гидрометеорологов туалет теплый, то есть пенопласт, радиатор, стульчак – счастье.

После концерта у них коньячок и как высший признак доверия и любви две вялых мандаринки. Бежим к самолету. Снег синий скрипит, как жесьть. Зажгли факелы, какие-то бенгальские огни, звезды на небе. Грустно и прекрасно. И я вспомнил, где я видел таких добрых деликатных людей. В монастыре. Это мы, когда нам не надо доставать, воровать, проникать и выискивать. Это мы – когда мы заняты делом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.